

АБСОЛЮТНОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ

Маленькая антология европейской поэзии
Составил и снабдил комментариями
Борис Хазанов



ImWerdenVerlag
München 2006

СОДЕРЖАНИЕ

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН (1799—1837)	6
САПФО (вторая половина VII — начало VI в. до н.э.) ΣΑΠΦΩ	8
ГАЙ ВАЛЕРИЙ КАТУЛЛ (87—58 или 84—54 до н. э.)	
GAIUS VALERIUS CATULLUS	10
КВИНТ ГОРАЦИЙ ФЛАКК (65—8 до н.э.) QUINTUS HORATIUS FLACCUS	12
«НОЧНОЕ ПРАЗДНЕСТВО ВЕНЕРЫ» (IV век н.э.?) PERVIGILIUM VENERIS.....	16
СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ (конец XII в.?) СЛОВО О ПЛЪКУ	
ИГОРЕВЪ, ИГОРЯ СЫНА СВЯТЬСЛАВЛЯ, ВНУКА ОЛЬГОВА.....	18
ВАЛЬТЕР ФОН ДЕР ФОГЕЛЬВЕЙДЕ (ок. 1170—1230)	
WALTHER VON DER VOGELWEIDE	21
УИЛЬЯМ ШЕКСПИР (1564—1616) WILLIAM SHAKESPEARE	25
ГАВРИИЛ РОМАНОВИЧ ДЕРЖАВИН (1743—1816).....	27
ИОГАНН ВОЛЬФГАНГ фон ГЁТЕ (1749—1832)	
JOHANN WOLFGANG von GOETHE.....	28
ИОГАНН КРИСТИАН ФРИДРИХ ГЁЛЬДЕРЛИН (1770—1843) JOHANN	
CHRISTIAN FRIEDRICH HÖLDERLIN.....	30
НОВАЛИС (1772—1801) NOVALIS	33
ДЖОН КИТС (1795-1821) JOHN KEATS	38
КАРЛ АВГУСТ ГЕОРГ МАКСИМИЛИАН фон ПЛАТЕН-ГАЛЛЕРМЮНДЕ	
(1796—1835) KARL AUGUST GEORG MAXIMILIAN	
von PLATEN-HALLERMUENDE	40
ГЕНРИХ ГЕЙНЕ (1797—1856) HEINRICH HEINE	42
ЕВГЕНИЙ АБРАМОВИЧ БАРАТЫНСКИЙ (БОРАТЫНСКИЙ) (1800—1844).....	44
ФЁДОР ИВАНОВИЧ ТЮТЧЕВ (1803—1873).....	46
МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ЛЕРМОНТОВ (1814—1841)	48
АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ТОЛСТОЙ (1817—1875).....	49

АФАНАСИЙ АФАНАСЬЕВИЧ ФЕТ (1820—1892).....	50
НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ НЕКРАСОВ (1821—1877)	52
ШАРЛЬ-ПЬЕР БОДЛЕР (1821—1867) CHARLES-PIERRE BAUDELAIRE	55
ПОЛЬ ВЕРЛЕН (1844—1896) PAUL VERLAINE	58
ЖАН-НИКОЛА-АРТЮР РЕМБО (1854—1891)	
JEAN-NICOLAS-ARTHUR RIMBAUD	60
РЕДЬЯРД КИПЛИНГ (1865—1936) RUDYARD KIPLING	62
РАЙНЕР МАРИЯ РИЛЬКЕ (1875—1926) RAINER (RENÉ)	
KARL WILHELM JOHANN JOSEPH MARIA RILKE	65
ГИЙОМ АПОЛИНЕР (1880—1918) GUILLAUME APOLLINAIRE.....	68
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ БЛОК (1880—1921)	70
ВЛАДИСЛАВ ФЕЛИЦИАНОВИЧ ХОДАСЕВИЧ (1886—1939)	72
НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ ГУМИЛЁВ (1886—1921).....	74
ГОТФРИД БЕНН (1886—1956) GOTTFRIED BENN	76
ТОМАС СТЕРНЗ ЭЛИОТ (1888—1965) THOMAS STEARNS ELIOT	78
АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА (1889—1966).....	82
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ ПАСТЕРНАК (1890—1960).....	84
ОСИП ЭМИЛЬЕВИЧ МАНДЕЛЬШТАМ (1891—1938)	85
МАРИНА ИВАНОВНА ЦВЕТАЕВА (1892—1941)	87
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ МАЯКОВСКИЙ (1893—1930).....	89
PAUL ELUARD (1895—1952) ПОЛЬ ЭЛЮАР.....	90
СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕСЕНИН (1895—1925).....	92
ЭДУАРД ГЕОРГИЕВИЧ БАГРИЦКИЙ (1895—1934).....	93
ЛУИ АРАГОН (1897—1982) LOUIS ARAGON	96
БЕРТОЛЬТ БРЕХТ (1898—1956) BERTOLT (BERTOLD)	
EUGEN FRIEDRICH BRECHT	98
НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ЗАБОЛОЦКИЙ (1903—1958).....	100
ПАУЛЬ ЦЕЛАН (1920—1970) PAUL CELAN	102
ИОСИФ АЛЕКСАНДРОВИЧ БРОДСКИЙ (1940—1996).....	106

O mein Freund, wiederhole es Dir unaufhörlich, wie kurz das Leben ist, und daß nichts so wahrhaftig existiert als ein Kunstwerk. Kritik geht unter, leibliche Geschlechter verlöschen, Systeme wechseln, aber wenn die Welt einmal brennt wie ein Papierschnitzel, so werden die Kunstwerke die letzten lebendigen Funken sein, die in das Haus Gottes gehen, — dann erst kommt Finsternis.

Caroline Schlegel an A. W. Schlegel.
1801.

Друг мой, неустанно повторяй себе самому: жизнь коротка, и лишь творение искусства обладает подлинным существованием. Критика умирает, поколения уходят в небытие, меняются философские системы, но если однажды мир сгорит, как клочок бумаги, последней живой искрой, улетающей в Дом Бога, будет произведение искусства, — и лишь после этого наступит мрак.

Каролина Шлегель — А. В. Шлегелю.
1801 г.

Ржавеет золото, и истлевает сталь,
Крошится мрамор. К смерти всё готово.
Всего прочнее на земле — печаль
И долговечней — царственное слово.

Ахматова

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН (1799 – 1837)

Из Пиндемонти

Не дорого ценю я громкие права,
От коих не одна кружится голова.
Я не ропщу о том, что отказали боги
Мне в сладкой участи оспоривать налоги
Или мешать царям друг с другом воевать.
И мало горя мне, свободно ли печать
Морочит олухов, иль чуткая цензура
В журнальных замыслах стесняет балагура.
Всё это, видите ль, слова, слова, слова.*
Иные, лучшие мне дороги права;
Иная, высшая потребна мне свобода:
Зависеть от царя, зависеть от народа —
Не всё ли нам равно? Бог с ними.

Никому

Отчёта не давать, себе лишь самому
Служить и угождать; для власти, для ливреи
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи;
По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы красотам,
И пред созданиями искусств и вдохновенья
Трепеща радостно в восторгах умиленья.
— Вот счастье! вот права...

Абсолютное стихотворение замкнуто в самом себе, и любое комментирование, любой анализ, который стремится взломать эту замкнутость, в конечном счёте обречены на неудачу; абсолютное стихотворение остаётся неуловимым; в нём самом всё сказано; истолковать его до конца, исчерпать его «смысл» — невозможно: он теряется в анфиладе зеркал. И, однако, стихотворение было к кому-то обращено: к самому поэту, к друзьям, к возлюбленной, к неопределённому читателю или слушателю; теперь оно обращается к нам, никогда не видевшим поэта, не слышавшим его голос, и хотя традиционное познание поэзии ставит своей целью поместить её в контекст эпохи, биографии автора и литературной истории, дело обстоит как раз наоборот: абсолютное стихотворение становится точкой отсчёта. Сведения, которые можно из него почерпнуть, — своего рода снисходительность, оказанная любознательному читателю;

* Hamlet.

абсолютное стихотворение творит эпоху и воскрешает смутный облик поэта; ему не нужен больше его создатель, не нужна история; абсолютное стихотворение существует само по себе.

Абсолютное стихотворение есть тот единственный случай, когда знак всецело становится смыслом, а смысл предстаёт как гармония всех компонентов стиха — гармония значения и звучания. Его совершенство исчезает в нём самом. Высшее искусство состоит в преодолении искусства. Абсолютная поэзия всегда производит впечатление чего-то естественного, самородного, сущего изначально — и оттого кажется сверхъестественным: согласно архаическому поверью, о котором упоминает Эмиль Чоран, поэзия — это ветер из обители богов.

Стихи Пушкина, которыми мы открываем эту антологию, приписанные (видимо, по цензурным соображениям) малоизвестному итальянскому поэту, не публиковались при жизни автора, хотя и были подготовлены им к печати. Шестистопный ямб с цезурой и парной рифмой — так называемый александрийский стих, пришедший к нам из Франции. Стихотворение написано за полгода до дуэли.

ΣΑΠΦΟ (вторая половина VII — начало VI в. до н.э.)
ΣΑΠΦΩ

Ποικιλόθτρον' αθανάτ' Ἀφρόδιτα,
παι Δίος δολόπλοκε, λίσσομαί σε,
μή μ'άσαισι μηδ' ονίαισι δάμνα,
πότνια, θυμον,

αλλα τυῖδ' ἔλθ', αἶ ποτα κατέρωτα
τας ἔμας αὐδας αἰοῖσα πήλοι
έκλυες, πάτρος δε δόμον λίποισα
χρύσιον, ηλθες

ἀρμ' υπασδεύξαισα, κάλοι δέ σ'αγον
ώκεες στρουθοι περι γας μελαίνας
πύκνα δίννεντες πτέρ' απ' ωράνω αἰθε-
ρος δια μεσσω.

Αἰψα δ'εξίκοντο, συ δ'ω μάκαιρα,
μειδιαίσαισ' αθανάτωι προσώπωι
ήρε', ὅττι δηυτε πέποντα κώττι
δηυτε κάλημμι

κώττι μοι μάλιστα θέλω γένεσθαι
μαινολαι θύμωι, ἴτινα δηυτε Πείθω
μαις άγην ες σαν φιλότατα, τίς σ', ω
Ψάπφ', αδικήει;

και γάρ αι φεύγει, ταχέως διώξει,
αι δε δωρα μη δέκετ', αλλα δώσει,
αι δε μη φίλει, ταχέως φιλησει
κωυκ εθέλοισα'.

έλθε μοι και νυν. χαλεπαν δε λυσον
εκ μερίμναν, ὅσσα δέ μοι τέλεσαι
θυμος ιμέρρει, τέλεσον, συ δ'άυτα
σύμμαχος έσσο.

На разноцветном троне бессмертная Афродита, дочь Зевса, хитро плетущая сети, умоляю тебя, не томи душу тоской и болью, госпожа, сжался!

Приди, если ты услышала мой зов, оставила золотой дом твоего отца и поспешила ко мне

в повозке, что несут быстрые птицы над тёмной землёй, усердно махая крыльями, с неба вниз, сквозь воздушные царства.

Стремительно прибыли они, а ты, благосклонная, с улыбкой бессмертного лица, посмотрела, о чём я опять страдаю, зачем позвала тебя,

чего алчет, тоскуя, моё беспокойное сердце. Кого посвятит Пейто твоей любви, богиня? Кто это нанёс рану тебе, Сапфо?

Если теперь она о ком-то молит, то завтра побежит за тобой, если не принимает твоих даров, сама их подарит, если не любит, полюбит, хотя бы и против воли.

Так приди же ко мне и сегодня, избавь от злой кручины, и, чего сердце жаждет, исполни. Помоги мне, будь мне союзницей.

Платон, назвавший Сапфо десятой музой, Катулл и Гораций, для которых она была образцом, читали её целиком; александрийские учёные включили Сапфо в канон девяти величайших поэтов, её стихи были изданы в девяти книгах. Почти всё созданное ею пропало. Остались обрывки — короткие цитаты у позднеантичных авторов; гимн Афродите, написанный, как и другие тексты Сапфо, на эолийском диалекте, — единственное полностью сохранившееся стихотворение.

Сапфо была дочерью знатных родителей и большую часть жизни, по-видимому, короткой, провела в Митилене на Лесбосе, третьем по величине острове Греческого архипелага; была замужем, имела дочь; руководила кружком поэтесс; свои стихи исполняла, сопровождая пение игрой на кифаре, и считалась изобретательницей миксолидического лада. Предание называет её подругой второго великого эолийского лирика Алкея. Согласно другому рассказу, она бросилась со скалы в море из-за несчастной любви к лодочнику Фаону. Пушкин намекает на него в трёхстишии «Сафо».

Стихотворение написано сапфической строфой (три сапфических стиха и заключительный адонийский), не привившейся в русской поэзии. Лучшие поэтические переводы на передают его прелести.

ГАЙ ВАЛЕРИЙ КАТУЛЛ (87—58 или 84—54 до н. э.)
GAIUS VALERIUS CATULLUS

Carm., 5

Vivamus, mea Lesbia, atque amemus
rumoresque senum severiorum
omnes unius aestimemus assis!
soles occidere et redire possunt:
nobis, cum semel occidit brevis lux,
nox est perpetua una dormienda.
da mi basia mille, deinde centum,
dein mille altera, dein secunda centum,
deinde usque altera mille, deinde centum,
dein, cum milia multa fecerimus,
conturbabimus illa, ne sciamus
aut ne quis malus invidere possit,
cum tantum sciat esse basiorum.

Стихотворение 5

Будем жить и любить друг друга, моя Лесбия, и пускай злословье всех этих чопорных старцев для нас не стоит гроша. Солнца могут восходить и закатываться — для нас, едва лишь погаснет наш огонёк, пусть вечно длится объятая сном ночь. Тысячу раз целуй меня, а потом дай мне ещё сто поцелуев, и ещё тысячу, и ещё сто, и снова тысячу раз, и ещё сто, а потом смешаем эти тысячи и уже не будем знать, кто кого целует, и чтобы ни один завистник не сказал о нас дурно, узнав, как мы целовались.

Катулл сетует в нескольких стихотворениях на бедность, но неимущим он отнюдь не был, вырос в состоятельной семье, владел двумя поместьями. Короткая жизнь Катулла совпала с последними временами республиканского Рима; ребёнком он застал диктатуру Суллы, а умер незадолго до победного окончания войны Цезаря с галлами. В 66 г. Катулл, уроженец Вероны, прибыл в Рим, где начался его мучительный роман с женщиной, которую он называет Лесбией в честь Сапфо. Считается, что это была Клодия Пульхра, светская красавица, известная своей распущенностью, портрет которой набросан в одной из речей Цицерона.

Страстный, необузданный, импульсивный, горестно разочарованный, язвительный, не щадивший никого, не исключая Цезаря и его фаворитов, гениально-угловатый и гораздо менее музыкальный, чем кумир следующего поколения Гораций, — что не помешало Катуллу достичь высот мастерства, — он оказал огромное влияние на всю дальнейшую римскую поэзию, потом куда-то исчез, до тех пор пока в XIV столетии

не была обнаружена средневековая рукопись с его стихами. В России известность Катулла начата Тредиаковским (перевёл оду 12); восьмистишие Пушкина «Мальчику» («Пьяной горечью Фалерна...») с эпиграфом из Катулла представляют собой перевод 27-го стихотворения. Блок посвятил поэме об оскоплённом Аттисе особую главу в очерке «Катилина». Ходасевич («Памяти кота Мурра») вспоминает стихотворение Катулла о воробье.

КВИНТ ГОРАЦИЙ ФЛАКК (65—8 до н.э.)
QUINTUS HORATIUS FLACCUS

Carmina, liber III, 30

Exegi monumentum aere perennius
Regalique situ pyramidum altius,
Quod non imber edax non Aquilo impotens
Possit diruere aut innumerabilis

Annorum series et fuga temporum.
Non omnis moriar multaue pars mei
Vitabit Libitinam usque ego postera
Crescam laude recens, dum Capitolium

Scandet cum tacita virgine pontifex.
Dicar, qua violens obstrepit Aufidus
Et qua pauper aquae Daunus agrestium
Regnavit populorum, ex humili potens,

Princeps Aeolium carmen ad Italos
Deduxisse modos. Sume superbiam
Quaesitam meritis et mihi Delphica
Lauro cinge volens, Melpomene, comam.

Ода III, 30

Я воздвиг памятник долговечней бронзы и выше царственного строения пирамид. Ни истребительный поток, ни буйный Аквилон не смогут его сокрушить, — ни череда бесчисленных лет, ни бег времён. Я умру не весь. Большая часть меня переживёт погребение, и буду вознесён посмертной хвалой, не увядая, до тех пор, пока с безмолвной девой жрец восходит на Капитолий. Обо мне будут говорить там, где бурлит шумный Авфид и где безводный Давн правил степными народами: скажут, что я, возвысившийся из низов, первым переложил эолийскую песнь на итальянские лады. Проникнись заслуженной гордостью и венчай меня дельфийским лавром, благосклонная Мельпомена.

Двести пятьдесят манускриптов средневековых переписчиков сберегли, по-видимому, целиком корпус поэзии Горация. Он рано стал хрестоматийным, «школьным»

автором, его усердно читали и в эпоху Возрождения, и в Новое время. Гёте относился к нему прохладно, но этот взгляд остался исключением. Среди почитателей Горация были Буало, чьё «Поэтическое искусство» сознательно ориентировано на Послание к Пизонам о поэтическом искусстве (*de arte poetica*), и Пушкин, которому принадлежат вольный перевод оды 7 второй книги («Кто из богов мне возвратил...»), неоконченный перевод оды I,1 («Царей потомок, Меценат...») и «Памятник», написанный вслед за Ломоносовым и Державиным.

Сын вольноотпущенника, выходец из Южной Италии, Гораций получил основательное образование в Риме и Афинах, юношей принял участие в гражданской войне, был трибуном (штабным офицером легиона) в армии Брута, после разгрома республиканцев при Филиппах в 42 г. бежал, бросив оружие на поле боя, по собственным его словам. (*Пушкин*: «Хитрый царедворец хотел рассмешить Августа и Мецената своей трусостью, чтоб не напомнить им о сподвижнике Кассия и Брута»). По амнистии бывшим противникам Октавиана Гораций вернулся в Рим; успехи на литературном поприще побудили его оставить скучную канцелярскую должность; обласканный Меценатом, он вступил в круг поэтов, где блистал Вергилий; был представлен Августу и получил в дар от Мецената виллу и земельный участок в Сабинских горах. Принцепс предложил ему пост своего личного секретаря; Гораций отказался. Уклонился он и от чести специально воспеть подвиги правителя, хотя и сочинил по заказу Августа юбилейную Вековую песнь.

Гораций не обладал (если верить Светонию) поэтической внешностью, это был толстенький приземистый человек. «Твой объём восполняет недостаток роста», — шутил Август. В одной из од Гораций предсказывал, что уйдёт вместе с другом. Так и случилось: он пережил Мецената лишь на несколько месяцев.

Свою заслугу Гораций довольно скромно видит в том, что он ввёл в латинскую поэзию эолийские метры (имеются в виду прежде всего размеры Сапфо и Алкея). Он полагал, что будет известен, пока жрец и шесть весталок поднимаются на капитолийский холм, — пока пребудет Рим. На самом деле он надолго — навсегда — пережил Рим.

Обращение к музе написано 1-й асклепиадовой строфой, сравнительно нечастой у Горация. Рифма в общем неизвестна античному стихосложению; но рифмованные строки, которыми начинается ода, — не случайность: ничто здесь не случайно.

ПУБЛИЙ ОВИДИЙ НАЗОН (43 до н.э. — ок. 17 н.э.)
PUBLIUS OVIDIUS NASO

Tristium lib. I, 1

Parve — nec invideo — sine me, liber, ibis in urbem:
ei mihi, quod domino non licet ite tuo!
vade, sed incultum, qualem decet exulis esse;
infelix habitum temporis huius habe.
nec te purpureo velent vaccinia fuco —
non est conveniens lucribus ille color —
nec titulus minio, nec cedro charta notetur,
candida nec nigra cornua fronte geras.
felices ornent haec instrumenta libellos:
fortunae memorem te decet esse meae.
nec fragili geminae poliantur pumice frontes,
hirsutus sparsis ut videare comis.
neve liturarum pudeat; qui viderit illas,
de lacrimis factas sentiet esse meis.
vade, liber, verbisque meis loca grata saluta:
contingam certe quo licet illa pede.
siquis, ut in populo, nostri non immemor illi,
siquis, qui, quid agam, forte requirat, erit,
vivere me dices, salvum tamen esse negabis...

Печальные песни, I,1

Завидую тебе, бедная моя книжка, без меня ты отправляешься в Город. Хозяину твоему, увы, вместе с тобой идти не разрешается. Ступай же, без всяких изысков, как положено книге изгнанника, в бедном, как у него, одеянии, и пускай тебя не облекает пурпур, — этот цвет не годится для скорби, — не надо ни красной надписи на обложке, ни цедра для свитка. Не носи блестящих рогов на чёрном своём челе. Всё это пусть украшает книги счастливых, тебе же следует помнить о моей судьбе. Пусть не лоснятся твои торцы, пусть ты будешь выглядеть словно в косматой шерсти, и не стыдись пятен: всякий, кто взглянет на тебя, поймёт, что я плакал, когда писал тебя. Иди, книга, и приветствуй милые места от моего имени: твоими стопами, коли позволено, я коснусь их, и если в народе меня ещё не позабыли, если кто-нибудь захочет узнать, как я там, скажи, я жив, но благоденствовать — вот уж нет...

Последний из великих поэтов эпохи Принципата, видевший Вергилия, друживший с Проперцием, слышавший, как читает — точнее, поёт — свои стихи Гораций, оставил весьма обширное наследие. Объём созданного Овидием («Amores» — любовные элегии, «Heroides» — письма мифологических героинь к возлюбленным и ответы на письма, «Метаморфозы», «Искусство любви», «Tristia» и многое другое) равняется всему, что сочинили Лукреций, Катулл, Вергилий, Гораций и Тибулл вместе взятые. И всё это дошло до нас.

Он родился в семье, принадлежащей к сословию всадников, получил изрядное образование, посетил Грецию, Малую Азию и наслаждался рано завоеванной славой, богатством и беспечной жизнью в Риме до тех пор, пока не грянул гром. По приказу Августа он был отправлен (точнее, «релегирован» без лишения римского гражданства и потери имущественных прав) в пожизненное изгнание на край света, в селение Томы на нынешнем румынском побережье Чёрного моря. Конкретная причина ссылки неизвестна.

В ссылке были написаны «Tristia» (приблизительный перевод — «Печальные песни»), по мнению Пушкина, лучшее из всего, что создал Овидий. Он посылал их для публикации домой в Рим — завидное преимущество античного писателя перед литературными изгнанниками нашего недавнего времени. Как все его вещи, они написаны элегическим дистихом (чередование гексаметра и пентаметра), заимствованным у греков размером, которым этот поэт владел с недостижимой виртуозностью.

Для понимания приведённого здесь отрывка (начало первой элегии 1-й книги) полезно знать, как выглядела книга в Древнем Риме. Папирусный свиток находился в «обложке» — футляре из раскрашенной кожи. Красителями служили растительные соки, смешанные с молоком и прокипячённые для прочности. На торце футляра красной краской наносились имя автора и название книги. Для защиты от книжного червя папирус покрывали плёнкой кедрового масла. Концы стержня, на который накручивался свиток, загибались наподобие рогов.

«НОЧНОЕ ПРАЗДНЕСТВО ВЕНЕРЫ» (IV век н.э.?)
PERVIGILIUM VENERIS

Cras amet qui nunquam amavit quique amavit cras amet!
Ver novum: ver iam canorum: ver renatus orbis est!
Vere concordant amores, vere nubunt alites
Et nemus comam resolvit de maritis imbribus:
Cras amorum copulatrix inter umbras arborum
Implicat casa virentis de flagello myrteo,
Cras Dione iura dicit fulta sublimi throno.

Cras amet qui nunquam amavit quique amavit cras amet!
Ipsa Nymphas diva luco iussit ire myrteo:
«Ite, Nymphae, posuit arma, feriatus est Amor:
Iussus est inermis ire, nudus ire iussus est,
Non quid arcu neu sagitta neu quid igne laederet».
It puer comes puellis; nec tamen credi potest
Esse Amorem feruatum, si sagittas exuit;
Sed tamen, Nymphae, cavete, quod Cupido pulcher est:
Totus est in armis idem quando nudus est Amor.

Cras amet qui nunquam amavit quique amavit cras amet!

.....
Subter umbras cum maritis ecce balantum greges;
Iam loquaces ore rauco stagna cygni perstrepunt.
Iam canoras non tacere diva iussit alites:
Adssonat Terei puella subter umbram populi,
Ut putes motus amoris ore dici musico
Et neges queri sororem de marito barbaro.
Illa cantat: Nos tacemus? Quando ver venit meum?
Quando faciam uti chelidon vel tacere desinam?
Perdidi Masam tacendo nec me Phoebus respicit.
Sic Amyclas cum tacerent perdidit silentium.

Cras amet qui nunquam amavit quique amavit cras amet!

Завтра полюбит, кто ещё никогда не любил, и кто любил, полюбит завтра!

Новая весна, весна песен, мир, рождённый заново! Весною сходятся желания, сочетаются браком птицы, роща распускает волосы под готовым излиться супружеским дождём. Завтра — в приюте, соединившем любовь, под зазеленевшей сенью деревьев, сплетутся миртовые венки, завтра Диона возвестит свой закон с высокого трона.

Завтра полюбит, кто ещё никогда не любил, и кто любил, полюбит завтра!

Божественная, она сама повелела нимфам итти в миртовую рощу: «Спешите, нимфы, Амур оставил своё оружие, он празднует с вами, ему приказано итти нагим, без лука и стрел,

он безопасен, он не обожжёт вас огнём». Мальчик идёт, спутник девушек, и не поверишь, что это Амур празднующий, пока он не выпустит свои стрелы. Берегитесь же, нимфы, Купидон красив, но оружие при нём, хоть он и нагой.

Завтра полюбит, кто ещё никогда не любил, и кто любил, полюбит завтра!

.....

На тенистых полянах прячутся с супругами стада овец, и уже лебеди оглашают озёра хриплыми кликами, и звонкоголосым птицам богиня приказала не молчать. И девушка, дочь фракийского народа, подпевает в тени, пойми, это волнение любви говорит о себе мелодичными устами, и не жалуйся на сестру супруга-варвара. Она поёт. А мы? мы молчим? Когда придёт весна для меня? Когда, уподобясь ласточке, нарушу молчание? Онемев, я потерял Музу, Аполлон отвёл от меня свой взор. Так Амиклы погубило их молчание.

Завтра полюбит, кто ещё никогда не любил, и кто любил, полюбит завтра!

Остаётся загадкой, кто, где, когда сочинил этот шедевр поздней римской поэзии. Сто строк с повторяющимся заклинанием-рефреном («Завтра полюбит...»), языческая радость жизни, весенняя ночь, ожидание чего-то необыкновенного и тоска поэта, которому не дано разделить феерический праздник. Лёгкие, уносящиеся стихи, танцующий ритм, восьмистопный хорей.

Многочисленные попытки датировать *Pervigilium* мало что дали; одно из вероятных предположений — первая половина IV века. Эпоха начинающегося заката римского мира, время императоров Диоклетиана и Константина, время Авсония — крупнейшего латинского поэта поздней поры. Но не он — автор «Ночного празднества».

Мы помещаем зачин и концовку поэмы.

СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ (конец XII в.)
СЛОВО О ПЛЪКУ ИГОРЕВЪ, ИГОРЯ СЫНА СВЯТЪ-
СЛАВЛЯ, ВНУКА ОЛЬГОВА

Не лепо ли ны бяшетъ, братие,
начяти старыми словесы трудных повестий
о пълку Игоревъ, Игоря Святъславлича?
Начати же ся тѣи пѣсни по былинам сего времени,
а не по замышленію Бояню!
Боянь бо вѣщій, аще кому хотяще пѣснь творити,
то растѣкашется мыслию по древу,
сѣрым вълком по земли,
шизым орлом подъ облакы.
Помняшетъ бо речъ пѣрвыхъ времянь усобицѣ;
тогда пушашетъ 10 соколовъ на стадо лебедѣй,
который дотечаше,
то преди пѣснь пояше
старому Ярославу,
храброму Мстиславу
иже зарѣза Редедю пред плѣки касожскими,
красному Романови Святъславличю.
Боян же, братіе, не 10 соколовъ на стадо лебедѣй пушаше,
нъ своя вѣщія прѣсты на струны вѣскладаше,
они же сами княземъ славу рокотаху.
.....
На Дунаи Ярославнынъ гласъ слышитъ,
зегзицею незнаема рано кычетъ.
«Полечю, — рече. — зегзицею по Дунаеви,
омочю бибрянъ рукавъ въ Каялѣ рѣцѣ,
утру князю кровавыя его раны на жестоцѣмъ его тѣлѣ».
Ярославна рано плачетъ въ Путивлѣ на забралѣ аркучи:
«О вѣтре вѣтрило!
Чему, господине, насильно вѣеши?
Чему мычеши хиновъскыя стрѣлки
на своєю нетрудною крилицю
на моя лады вои?
Мало ли ти бяшетъ горѣ
подъ облакы вѣяти,
делѣючи корабли на синѣ морѣ?»

Чему, господине, мое веселие по ковылию развѣя?»

Ярославна рано плачетъ Путивлю городу на заборолѣ, аркучи:

«О, Днепре Словутицю!

Ты пробилъ еси каменныя горы сквозѣ землю Половецкую,
ты делѣялъ еси на себѣ Святослави насады до плѣку Кобякова
Възлелѣй, господине, мою ладу къ мнѣ,
а быхъ не слала къ нему слезъ на море рано».

Ярославна рано плачетъ въ Путивлѣ на забралѣ, аркучи:

«Свѣтлое и тресвѣтлое слънце!

Всѣмъ тепло и красно еси!

Чему, господине, простре горячую свою лучю на ладѣ вои?

Въ полѣ безводнѣ жаждую имъ лучи съпряже,
тугою имъ тули затче».

Не начать ли нам, братья, старыми словами скорбную повесть о походе Игорево, Игоря Святославича? Начаться же той песне по былям сего времени — не по измышлению Бояна! Ведь Боян вещий, когда хотел сложить кому-нибудь песнь, то растекался мыслью по древу, серым волком рыскал по земле, сизым орлом парил под облаками. Вспомнит усобицы первых времён — выпустит десять соколов на стаю лебедей. Кто первый домчится, тот и песнь поёт первым старому Ярославу, храброму Мстиславу, что зарезал Редедю перед касожскими полками, славному Роману Святославичу. Но, братья, Боян не 10 соколов пустил на стаю лебедей, а свои вещие персты возлагал на струны, и они сами князьям славу рокотали.

<...>

На Дунае слышен голос Ярославны, рано кычет неведомой кукушкой: «Полечу кукушкой по Дунаю, омочу бобровый рукав в реке Каяле, утру князю кровавые его раны на истерзанном его теле». Ярославна рано плачет в Путивле, на крепостной стене: «О ветер, ветрило! К чему, господин, веешь с такой силой, зачем мечешь на лёгких крыльях своих стрелы иноверцев на воинов моего любимого? Неужто тебе мало веять высоко под облаками, баюкая корабли на синем море? Зачем, господин, ты развеял моё счастье по ковылям?» Ярославна рано плачет в Путивле-городе, на крепостной стене: «О Днепр Словутич! Ты пробил каменные горы сквозь землю Половецкую. Ты нёс на себе корабли Святослава до Кобякова полчища. Взлелей, господин, моего любимого, доставь его ко мне, чтобы не проливала я рано слёз». Ярославна плачет в Путивле, на крепостной стене: «Светлое, трижды светлое солнце! Всем тепло и красно ты. Зачем, владыка, ты простерло горячие свои лучи на воинство моего любимого в безводном поле, иссушило тетивы их луков, заколодило колчаны?...»

Об открытии «Слова о полку Игорево» в рукописном сборнике произведений древнерусской литературы разных эпох (граф А.И. Мусин-Пушкин обнаружил его в Ярославле, в доме архиерея) первым сообщил Херасков и следом за ним Карамзин, в октябре 1797 года в гамбургском журнале «Северный Зритель». В 1800 г. рукопись XVI века была опубликована под названием «Ироическая песнь о походе на половцов удельного князя Новагорода-Северского Игоря Святославича, писанная старинным руским языком в исходе XII столетия». Во время нашествия Наполеона в 1812 г. дом Мусина в Москве, где хранилась рукопись, сгорел, осталась единственная копия, выполненная для царицы, уцелело также несколько первопечатных экземпляров.

Высокая поэтическая культура не может не иметь за собою традиции. Одно их двух: либо памятник создан позже, либо перед нами вершина потонувшего матери-

ка — целого пласта исчезнувшей придворно-рыцарской литературы Киевской Руси. Хочется думать, что возвышенно-эпический и одновременно глубоко личный рассказ о неудачном походе Игоря с союзниками — братом, сыном и племянником — весной 1185 г. против половцев, о разгроме и пленении князей и побеге Игоря из плена написан современником, быть может, участником событий; как известно, этот взгляд подвергнут сомнению. Я оставляю в стороне неоконченный спор о датировке: пронзительный лиризм, красота и величие «Слова» не меняются от того, будем ли мы считать его памятником домонгольского времени или позднейших веков.

Здесь приведены зачин и плач Ярославны.

ВАЛЬТЕР ФОН ДЕР ФОГЕЛЬВЕЙДЕ (ок. 1170 – 1230)
WALTHER VON DER VOGELWEIDE

Under der linden

Under der linden
an der heide,
dâ unser zweien bette was,
dâ mugt ir vinden
schône beide
gebrochen bluomen unde gras,
vor dem walde in einem tal,
tandaradei,
schône sanc diu nahtegal.

Ich kam gegangen
zuo der ouwe:
dô was mîn vriedel komen ê.
dâ wart ich enpfangen,
hêre frouwe,
daz ich bin sælic iemer mê.
kust er mich? wol tûsentstunt:
tandaradei,
seht wie rôt mir ist der munt.

Dô het er gemachet
alsô rîche
von bluomen eine bettestat.
des wirt noch gelachet
innecliche
kumt iemen an daz selbe pfat.
bî den rosen er wol mac,
tandaradei,
merken wâ mirz houbet lac.

Daz er bî mir læge,
wessez iemen
(nu enwelle got!), sô schamt ich mich.
wes er mit mir pflæge,

niemer niemen
bevinde daz, wan er und ich,
und ein kleinez vogellîn:
tandaradei,
daz mac wol getriuwe sîn.

Под липой

Под липой в поле, где мы лежали вдвоём, вы можете найти место, где мы смяли траву и цветы, а в лесу, из лощины — тандарадай! — так чудно пел соловей.

Я пришла на луг — мой любимый был уже там. Как он меня встретил — словно я важная госпожа! Счастливая я навеки. Целовал ли он меня? Наверное, тысячу часов подряд — тандарадай! — взгляните, как алеет мой рот.

Он постлал для меня пышное ложе из цветов. Кто пройдёт по этой тропке, от души рассмеётся. Увидит: там, где розы — тандарадай! — лежала моя голова.

Как он остался со мной — если бы кто об этом узнал (упаси Бог!), мне было бы так стыдно. Никто, никто пускай не узнает — только я и он, да ещё малая птаха — тандарадай! — но она-то не проболтается.

Датированная ноябрём 1203 года латинская грамота удостоверяет, что епископ Пассауский Вольфгер распорядился выдать «певцу из Фогельвейде» (cantor de Vogelweide) пять шиллингов, довольно значительную для того времени сумму, на приобретение шубы. Таков единственный прижизненный документ, который прямо относится к великому миннезингеру. Сведения о Вальтере скудны. Он родился в Нижней Австрии или в Баварии, в обедневшей дворянской семье, вёл скитальческую жизнь, кочуя от одного феодального двора к другому, не остался в стороне от политических и военных событий своего времени, встречался, а может быть, и дружил с другим знаменитым поэтом — Вольфрамом фон Эшенбахом. Некоторое время состоял воспитателем при сыне Фридриха I Гогенштауфена и получил от императора в подарок небольшое владение возле Вюрцбурга. В Вюрцбурге показывают его надгробье, рядом с именем стоит слово miles — воин, рыцарь.

Стихотворение, написанное на средневерхненемецком языке — литературном языке германского Средневековья, в ритме, который может напомнить австрийский лендлер, исполнялось под аккомпанимент струнного инструмента. Изысканная форма (тройная перекрестная рифмовка с рефреном) указывает на принадлежность к придворной, куртуазной поэзии. Вместе с тем перед нами совершенно особый, единственный случай в лирической поэзии эпохи: стихотворение написано от имени женщины и притом женщины низкого звания. Эротическое, но не фривольное, не стыдливо-манерное, напротив — открытое, полное жизни, лукавое и наивное.

ЖОАКЕН ДЮ БЕЛЛЕ (1525—1560)
JOACHIM DU BELLAY

Las, où est maintenant ce mespris de Fortune?
Où est ce coeur vainqueur de toute adversité?
Cest honneste désir de l'immortalité
Et ceste honneste flamme au peuple non commune?

Où sont ces doux plaisirs, qu'au soir sous la nuit brune
Les Muses me donnoient, alors qu'en liberté
Dessus le verd tapy d'un rivage esquarté
Je les menois danser aux rayons de la Lune?

Maintenant la Fortune est maistresse de moi,
Et mon coeur qui soulait estre maistre de soi,
Est serf de mille maux et regrets qui m'ennuient.

De la postérité je n'ai plus de souci.
Cette divine ardeur, je ne l'ai plus aussi,
Et les Muses, de moi, comme étranges, s'enfuient.

Увы, где ныне презрение к судьбе, где это сердце, что побеждало враждебные козни?
Эта благородная жажда бессмертия, благородный пыл вдохновения, чуждый толпе?

Где наслаждение, которое музы дарили мне в сумерках ночи, когда в уединении, на
свободе, я вёл их хоровод в лучах луны, на отдалённом берегу?

Теперь я покорился судьбе, моё сердце, что привыкло слушать только себя, — раб не-
счётных бед и докучливых сожалений.

Мне уже всё равно, что скажут потомки, угас божественный пламень, и музы сторо-
нятся меня, как чужие.

Дю Белле был отпрыском весьма известного дворянского рода, уроженцем про-
винции Анжу; в 25 лет, приехав в Париж, познакомился с Ронсаром и вместе с ним
стал зачинателем Плеяды: написал задиристое «изложение намерений» — манифест
группы. С дядей или кузеном — кардиналом и епископом Парижа отправился с дип-
ломатическим поручением короля к папскому двору, но карьеры не сделал, в Италии
чувствовал себя изгнанником, а вернувшись в Париж, остался не у дел. Годами ничего
не писал, затем выпустил сборник сонетов «Сожаления», возможно, написанный ещё
в Риме, — лучшее из немногого, что он оставил. Дю Белле усвоил французской поэзии

сонетную форму. Из книги «Сожаления» взят и сонет-элегия «*Las, où est maintenant...*», вошедший в хрестоматии — и не зря.

Дю Белле был несчастлив, неприкаянным человеком, который всю жизнь страдал от своего трудного характера, словно желая собственным примером подтвердить слова Горация: *genus irritabile vatum* (раздражительное племя поэтов). Самолюбивый, ранимый, подверженный приступам гнева и отчаяния, часто хворал, страдал прогрессирующей глухотой. Инсульт и смерть в 35 лет.

УИЛЬЯМ ШЕКСПИР (1564—1616)
WILLIAM SHAKESPEARE

Sonnet LXVI

Tired with all these, for restful death I cry,
As, to behold desert a beggar born,
And needy nothing trimm'd in jollity,
And purest faith unhappily forsworn,

And guilded honour shamefully misplaced,
And maiden virtue rudely strumpeted,
And right perfection wrongfully disgraced,
And strength by limping sway disabled,

And art made tongue-tied by authority,
And folly doctor-like controlling skill,
And simple truth miscall'd simplicity,
And captive good attending captain ill:

Tired with all these, from these would I be gone,
Save that, to die, I leave my love alone.

Сонет 66

Устав от всего, я жажду покоя и зову смерть, несущую успокоение, словно родившийся нищим, перед которым — пустыня, когда жалкое ничтожество наслаждается жизнью, и самая преданная вера жестоко поругана, и бесстыдно попрана честь, и растоптано целомудрие, и оболгана справедливость, и стойкость духа сломила убудочная власть, и начальство заткнуло рот искусству, и мнимая учёность даёт указания уму, и очевидную истину объявляют глупостью, и связанная добродетель ожидает решения своей участи от безумца.

Устав от всего этого, я бежал бы отсюда, если бы не пришлось оставить одно мою любовь.

Шекспир родился, окончил местную латинскую школу и обзавёлся семьёй в Стретфорде-на-Эвоне, графство Уорвикшир, где показывают его дом. В 1586 году покинул город с труппой странствующих комедиантов, прибыл в Лондон, где стал драматургом, режиссёром и актёром (на второстепенных ролях) театра «Глобус»; его

вещи ставились и при дворе, труппа пользовалась покровительством королевы. Хотя современники едва ли могли оценить в полной мере значение Шекспира, он уже при жизни был признан первым драматическим поэтом своего времени; поэмы и сонеты остались в тени. Около 1611 г. вернулся на родину. Попытки приписать шекспировские пьесы другим лицам — Фр. Бэкону, Марло, шестому графу Дерби, семнадцатому графу Оксфордскому и т.д. — остались безуспешными.

До сих пор сонеты привлекают внимание главным образом потому, что они принадлежат Шекспиру. И всё же редкое стихотворение звучало в годы нашей юности так актуально, как сонет 66 (найдя в бумагах составителя русский перевод, следователь госбезопасности счёл его собственным произведением подследственного). Впрочем, как все сонеты Шекспира, оно не поддаётся однозначному переводу. Замечательные переложения Маршака маскируют адресата: значительная часть сонетов обращена не к женщине, а к мужчине. Возможно, это был лорд Саутгемптон, хотя неясно, что здесь может служить биографическим источником, а что является данью поэтической моде и условности.

«Суровый Дант не презирал сонета...» (*Пушкин*). Строгая форма итальянского сонета довольно скоро была расшатана. Так называемый английский сонет сохраняет каноническое число строк — 14, которые состоят из трёх катренов и заключительного дистиха. Сто пятьдесят четыре сонета были опубликованы при жизни Шекспира, в 1609 году.

ГАВРИИЛ РОМАНОВИЧ ДЕРЖАВИН (1743 — 1816)

Река времён в своём стремленьи
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.
А если что и остаётся
Через звуки лиры и трубы,
То вечности жерлом пожрётся
И общей не уйдёт судьбы!

Жизнь Державина, самого крупного поэта русского восемнадцатого века, отчётливо делится на две половины. Державин происходил из обедневших дворян Казанского губернии. Учился в немецкой школе в Оренбурге, затем в только что основанной Казанской гимназии; не окончив её, 19-ти лет, по рекомендации графа Шувалова был принят в гвардейский Преображенский полк, где добрых десять лет тянул солдатскую лямку, «ел хлеб с водою и марал стихи». Заработал первый офицерский чин, участвовал в подавлении пугачёвского восстания и был награждён тремястами крепостных душ. В 1777 г. вышел в отставку, получил место чиновника в Сенате.

Слава Державина началась в 1782 году, после того как княгиня Дашкова опубликовала в своём журнале оду «Фелица». Публику восхитили лёгкие ямбы, строфы с искусным переплетением рифм, смелое соединение торжественного и обыденного слога, смесь панегирика и сатиры; при дворе кое-кто сдвинул брови. Ода обращена к восточной царевне, героине сочинённой царицей Екатериной «Сказки о царевиче Хлоре», сам поэт (который был дальним потомком татарского мурзы, прибывшего в Москву при Василии Тёмном) скрылся под маской придворного; вся эта игра была достаточно прозрачной. Державин был принят императрицей, получил в подарок золотую табакерку, несколько времени спустя стал олонецким, а затем тамбовским губернатором, состоял секретарём царского кабинета; при Александре I был короткое время министром юстиции.

Державин был резкий, независимый человек, больших богатств накопить не сумел, однажды сочинил для себя такую эпитафию: «Здесь лежит Державин, который поддерживал правосудие; но, подавленный неправдою, пал, защищая законы».

Восьмистишие — начало неоконченного стихотворения — написано за два дня до смерти. Это его последние строки.

В имени Державина слышится слово «ржавый», и оно напоминает о державе.

ИОГАНН ВОЛЬФГАНГ ФОН ГЁТЕ (1749—1832)
JOHANN WOLFGANG von GOETHE

West-östlicher Divan, Mohanni Nameh — Buch des Sängers
Selige Sehnsucht

Sagt es niemand, nur den Weisen,
Weil die Menge gleich verhöhnet,
Das Lebend'ge will ich preisen,
Das nach Flammentod sich sehnet.

In der Liebesnächte Kühlung,
Die dich zeugte, wo du zeugtest,
Überfällt dich fremde Fühlung,
Wenn die stille Kerze leuchtet.

Nicht mehr bleibest du umfangen
In der Finsternis Beschattung,
Und dich reißet neu Verlangen
Auf zu höherer Begattung.

Keine Ferne macht dich schwierig.
Kommst geflogen und gebannt,
Und zuletzt, des Lichts begierig,
Dist du, Schmetterling, verbrannt.

Und solang' du das nicht hast,
Dieses: Stirb und Werde!
Bist du nur ein trüber Gast
Auf der dunklen Erde.

Из «Западно-восточного Дивана» (Книга певца)
Блаженное стремленье

Никому это не говорите, только мудрым; ибо толпа тотчас осыпет вас насмешками.
Хочу восславить живое, что страстно тянется к пламенной смерти.

В остывающем жаре любовных ночей, когда тебя зачали и когда ты зачинал, когда светит молчаливая свеча, тебя охватывает чуждое чувство.

Ты больше не объят покровом темноты, и желание вновь возносит тебя ввысь, к новому оплодотворению.

Никакая даль тебе не помеха, ты летишь, ты зачарован, и, наконец, изнемогая в жажде света, ты, бабочка, сгораешь.

И до тех пор, пока у тебя этого нет, этого *умри и стань сызнова*, ты всего лишь печальный гость на тёмной земле.

Замечание Борхеса о том, что великие национальные поэты обыкновенно не воплощают того, что называется национальным характером, можно было бы подкрепить ссылкой на Пушкина, пожалуй, и на Гёте. Оба — современники, обоих роднит универсализм: целая литература в одном человеке. У Гёте впервые встречается выражение «мировая литература» (Weltliteratur); с Пушкиным сознание открытости миру вошло в русскую культуру.

Рождению Гёте, по его словам («Поэзия и правда»), сопутствовала счастливая конstellация: Юпитер и Венера «дружелюбно взирали» на Солнце, стоявшее в созвездии Девы, а недобрая планета — Сатурн — вела себя индифферентно. Но роды были тяжёлыми, ребёнок, родившийся в глубокой асфиксии, был сочтён мёртвым, как вдруг бабушка, хлопотавшая возле 18-летней родильницы, случайно заметила, что он дышит. Гёте прожил 82 года. Он был уроженцем Франкфурта, по примеру отца стал юристом. В сентябре 1775 г. Карл Август, молодой — примерно одних лет с Гёте — герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский, пригласил поэта на службу в своё маленькое государство в Тюрингии. Гёте стал тайным советником и министром, фактическим правителем страны, товарищем и в известной мере воспитателем несколько легкомысленного монарха, был возведён в дворянство, дружил с Шиллером, с Виландом, прожил в Веймаре, где тогда было 6 тысяч жителей, с небольшими перерывами (бегство в Италию в 1786—88 гг.) до самой смерти.

Гёте был невысокого роста, с большими тёмными глазами, в юности очень красив, страстно-мечтателен, в старости величествен и всю жизнь влюбчив. Образованный человек должен знать увлечения Гёте, заметил Томас Манн. Фридрику Брион Гёте увидел в доме её отца, пастора в Сезенгейме, с Лили Шёнеман был обручен во Франкфурте, Шарлотта Буфф стала прототипом героини «Страданий юного Вертера», веймарская придворная дама Шарлотта фон Штейн — предмет многолетней платонической любви, супруга франкфуртского банкира Марианна фон Виллемер — Зулейка «Западно-восточного Дивана», юную Вильгельмину Герцлиб поэт воспел накануне своего шестидесятилетия. Семидесяти с лишним лет, в Мариенбаде он влюбился в 17-летнюю Ульрику Софи фон Левецов, посватался, предложение было отвергнуто; Ульрика дожила старой девой до 95 лет.

В Веймаре, в 1788 г. началась связь Гёте с Кристианой Вульпиус, девушкой из цветочного магазина; общество было шокировано, когда он поселил её сначала в садовом домике, а затем у себя. Во время нашествия Наполеона французские солдаты разграбили Веймар, Кристиана храбро отстояла от мародёров дом Гёте, а может быть, и спасла ему жизнь; после этого он женился на ней — и пережил Кристиану на шестнадцать лет.

Стихи написаны четырёхстопным хореем — излюбленным размером немецкой поэзии XIX века, с заголовком, где оба слова начинаются с одинаковых звуков (Stabreim; ср. в русской поэзии: «Снится блаженный брег»). Зигзаг рифмовки: в предпоследней строфе женские окончания сменяются мужскими. Задумчивость уступает место аподиктической убеждённости.

ИОГАНН КРИСТИАН ФРИДРИХ ГЁЛЬДЕРЛИН
(1770—1843)
JOHANN CHRISTIAN FRIEDRICH HÖLDERLIN

Rousseau

Wie eng begrenzt ist unsere Tageszeit.

Du warst und sahst und stauntest, schon Abend ist's,
Nun schlafe, wo unendlich ferne
Ziehen vorüber der Völker Jahre.

Und mancher siehet über die eigene Zeit,
Ihm zeigt ein Gott ins Freie, doch sehnend stehst
Am Ufer du, ein Ärgernis den
Deinen, ein Schatten, und liebst sie nimmer,

Und jene, die du nennst, die Verheißenen,
Wo sind die Neuen, daß du an Freundeshand
Erwarmst, wo nahn sie, daß du einmal,
Einsame Rede, verhehmlich seiest?

Klanglos ist's, armer Mann, in der Halle dir,
Und gleich den Unbegrabenen, irrest du
Unstet und suchest Ruh', und niemand
Weiß den beschiedenen Weg zu weisen.

Sei denn zufrieden! <...> der Baum entwächst
Dem heimatlichen Boden, aber es sinken ihm
Die liebenden, die jugendlichen
Arme, und trauernd neigt er sein Haupt.

Des Lebens Überfluß, das Unendliche,
Das um ihn <...> und dämmert, er faßt es nie.
Doch lebt's in ihm und gegenwärtig,
Wärmend und wirkend, die Frucht entquillt ihm.

Du hast gelebt! <...> Auch dir, auch dir
Erfreuet die ferne Sonne das Haupt,
Und Strahlen aus der schönern Zeit. Es

Haben die Boten dein Herz gefunden.

Vernommen hast du die, verstanden die Sprache der Fremdlinge,
Gedeutet ihre Seele! Dem Sehnenen war
Der Wink genug, und Winke sind
Von alters her die Sprache der Götter.

Und wunderbar, als hätte von Anbeginn
Des Menschen Geist das Werden und Wirken all,
Des Lebens Weise schon erfahren,

Kennt er im ersten Zeichen Vollendetes schon,
Und fliegt, der kühne Geist, wie Adler den
Gewittern, weissagend seinen
Kommenden Göttern voraus.

Руссо

Как тесны пределы нашего дня. Ты был, видел, дивился, и вот уже вечер. Теперь спи — там, где бесконечно далеко тянутся мимо годы народов.

А кое-кто видит дальше собственного времени. Некий Бог указывает ему на простор, — и ты стоишь, тоскуя, на берегу, доука ближним, тень, и более никогда их не любишь.

А те, чьи имена ты произносишь, словно обеты, где же эти новые, чтобы приласкать их дружеской рукою, откуда явятся они, чтобы ты, одинокая речь, нашла отклик?

Ни звука тебе в ответ, бедняга, под сводами, и, подобно непогребённым, ты блуждаешь, не зная куда податься, ища покоя, никто не умеет указать уготованного пути.

Будь же доволен! [...] из родимой почвы произрастает дерево, но юные любящие руки опускаются у него, и печально склоняет оно главу.

Никогда оно не охватит преизбыток жизни, бесконечность, что окружает его [...] и меркнет, и всё-таки живёт в нём, согревает, действует и в должное время исторгает из него плод.

Ты жил! [...] и тебе тоже, тебе тоже греет голову далёкое солнце — лучи прекраснейшего времени. Вестники отыскали твоё сердце.

Ты им внял, ты понял язык чужестранцев, истолковал их душу! Взыскующему довольно было знака, а знаки — от века язык богов.

И чудно, словно с самого начала дух человека уже изведal всякое становление и действие, и мудрость жизни, [...]

он угадывает по первому признаку то, что свершится, и парит, отважный дух, как орёл в грозах, и пророчит, предвосхищая своих грядущих богов.

«Бедный Гёльдерлин! Он находится на иждивении у столяра, который о нём заботится, гуляет с ним, сторожит его, насколько это необходимо. Он не буйствует, только не следует доверять всему, что приходит ему в голову: он говорит, говорит, воображает, что окружён восхищёнными посетителями, спорит с ними, выслушивает их возражения и опровергает их с необыкновенной живостью, ссылается на великие произведения, которые он написал или собирается написать. И при этом вся его эрудиция, знание языков, осведомлённость в античной культуре — всё при нём... Говорят,

причина его помешательства — ужасное происшествие во Франкфурте...» (*Фарнгаген фон Энзе*, 1808).

Гёльдерлин происходил из маленького городка в Вюртемберге, родился в небогатой семье, рано потерял отца, а затем и отчима, учился в старинном тюрингенском «штифте» — училище евангелической теологии, одновременно с Гегелем и Шеллингом. В 1796 году стал домашним учителем в семье франкфуртского банкира Гонтара и влюбился в жену банкира Сюзетту — Диотиму его стихов и романа «Гиперион».. Увлечение превратилось в великую любовь его жизни, вышло за пределы платонического обожания, получило огласку; осенью 1798 года Гёльдерлин покинул Франкфурт. Скитался по Германии; некоторое время встречались тайком. В 1802 году Сюзетта Гонтар умерла. Признаки психического заболевания появились у Гёльдерлина в возрасте 32 лет; всю вторую половину жизни он находился на попечении семьи столяра Циммера в Тюрингене; комната в круглой башне над Неккаром, где жил больной, сохранилась до их пор.

Большая часть произведений Гёльдерлина, одновременно классика и романтика, стала известна после его смерти. Они не вызвали большого интереса, значение Гёльдерлина было осознано лишь в следующем веке. Особая, дразнящая и непонятная красота его творений, тёмный символический язык, загадочная глубина и многосмысленность предвосхищают «Дуинские элегии» Рильке и позднего Целана.

«Только незавершенные, а значит, незавершимые вещи, — сказал Чоран, — заставляют задумываться о сути искусства». Ода «Руссо» (не напрямую отсылающая к мыслителю, почитателем которого Гёльдерлин стал ещё в годы учёбы в Тюрингене; гораздо больше в ней говорится о самом поэте), как многое в рукописях Гёльдерлина, осталась в виде наброска; лакуны обозначены многоточием. Алкеева строфа.

НОВАЛИС (1772 – 1801)
NOVALIS

Lobt doch unsre stillen Feste,
Unsre Gärten, unsre Zimmer,
Das bequeme Hausgeräte,
Unser Hab und Gut.
Täglich kommen neue Gäste,
Diese früh, die andern späte,
Auf den weiten Herden immer
Lodert frische Lebensglut.

Tausend zierliche Gefäße,
Einst betaut mit tausend Tränen,
Goldne Ringe, Sporen, Schwerter
Sind in unserm Schatz.
Viel Kleinodien und Juwelen
Wissen wir in dunklen Höhlen,
Keiner kann den Reichtum zählen,
Zählt er auch ohn' Unterlaß.

Kinder der Vergangenheiten,
Helden aus den grauen Zeiten,
Der Gestirne Riesengeister
Wunderlich gesellt,
Holde Frauen, ernste Meister,
Kinder und verlebte Greise
Sitzen hier in Einem Kreise,
Wohnen in der alten Welt.

Keiner wird sich je beschweren,
Keiner wünschen fortzugehen,
Wer an unsern vollen Tischen
Einmal fröhlich saß.
Klagen sind nicht mehr zu hören,
Keine Wunden mehr zu sehen,
Keine Träne abzuwischen;
Ewig läuft das Stundenglas.

Teif gerührt von heil'ger Güte
Und versenkt in sel'ges Schauen,
Steht der Himmel im Gemüte,
Wolkenloses Blau.
Lange fliegende Gewande
Trugen uns durch Frühlingsauen,
Und es weht in diesem Lande
Nie ein Lüftchen kalt und rauh.

Süßer Reiz der Mitternächte,
Stiller Kreis geheimer Mächte,
Wollust rätselhafter Spiele,
Wir nur kennen euch.
Wir nur sind am hohen Ziele,
Bald in Strom uns zu ergießen,
Dann in Tropfen zu zerfließen
Und zu nippen auch zugleich.

Uns ward erst die Liebe Leben,
Innig wie die Elemente
Mischen wir des Daseins Fluten.
Brausend Herz mit Herz.
Lüstern scheiden sich die Fluten,
Denn der Kampf der Elemente
Ist der Liebe höchstes Leben
Und des Herzens eignes Herz.

Leiser Wünsche süßes Plaudern
Hören wir allein, und schauen
Immerdar in sel'ge Augen,
Schmecken nichts als Mund und Kuß.
Alles was wir nur berühren
Wird zu heißen Balsamfrüchten,
Wird zu weichen zarten Brüsten
Opfer kühner Lust.

Immer wächst und blüht Verlangen,
Am Geliebten festzuhalten,
Ihn im Innern zu empfangen,
Eins mit ihm zu sein,
Seinem Durste nicht zu wehren,
Sich in Wechsel zu verzehren,
Von einander sich zu nähren,
Von einander nur allein.

So in Lieb' und hoher Wollust
Sind wir immerdar versunken,
Seit der wilde trübe Funken

Jener Welt erlosch,
Seit der Hügel sich geschlossen
Und der Scheiterhaufen sprühte,
Und dem schauernden Gemüte
Nun das Erdgesicht zerfloß.

Zauber der Erinnerungen,
Heil'ger Wehmut süßer Schauer
Haben innig uns durchklungen,
Kühlen unsre Glut.
Wunden gibt's, die ewig schmerzen,
Eine göttlich tiefe Trauer
Wohnt in unser allen Herzen,
Löst uns auf in Eine Flut.

Und in dieser Flut ergießen
Wir uns auf geheime Weise
In den Ozean des Lebens
Tief in Gott hinein.
Und aus seinem Herzen fließen
Wir zurück zu unserm Kreise,
Und der Geist des höchsten Strebens
Taucht in unsre Wirbel ein.

Schüttelt eure goldnen Ketten
Mit Smaragden und Rubinen,
Und die blanken saubern Spangen —
Blitz und Klang zugleich.
Aus des feuchten Abgrunds Betten,
Aus den Gräbern und Ruinen,
Himmelsrosen auf den Wangen,
Schwebt ins bunte Fabelreich.

Können doch die Menschen wissen,
Unsre künftigen Genossen,
Daß bei allen ihren Freuden
Wir geschäftig sind,
Jauchzend würden sie verscheiden,
Gern das bleiche Dasein missen —
O! die Zeit ist bald verflossen,
Komm, Geliebte, doch geschwind.

Helft uns nur den Erdgeist binden,
Lernt den Sinn des Todes fassen
Und das Wort des Lebens finden;
Einmal kehrt euch um.
Deine Macht muß bald verschwinden,
Dein erborgtes Licht verblassen:

Werden dich in kurzem binden,
Erdgeist, deine Zeit ist um.

Воздайте же хвалу нашим тихим праздникам, нашим садам, нашим жилищам, удобной утвари, всему нашему добру. Каждый день приходят новые гости — одни раньше, другие позже. На далёких полянах возгораются снова и снова огни жизни.

Тысячи изукрашенных сосудов, некогда орошённых тысячами слёз, золотые перстни, шпоры, мечи — наше сокровище, немало драгоценных камней и украшений мы прячем в наших тёмных пещерах, никому не счесть наших богатств, сколько ни старайся.

Дети минувших времён, герои седой древности, духи-великаны созвездий, на удивление мы все вместе, прелестные женщины, строгие наставники, дети и согбенные старики сидят здесь единым кружком, жительствоуют в стародавнем мире.

Никто не пожалуется, никому не захочется уйти, — никому, кто сидел однажды, радуясь, за щедрыми нашими столами. Не слышно стонов, не видно ран, и не у кого утирать слёзы. Вечно ходит из рук в руки заздравная чаша.

Потрясённое святой добротой, погрузившись в блаженное созерцание, небо над нами исполнено тех же чувств — безоблачная синь. Длинные, веющие одежды несут нас сквозь угоды весны. Ни единого жесткого, холодного дуновения на бывает в этой стране.

Сладкая чара полуночи, тихий круг тайных сил, сладострастье тайных игр, лишь мы вас знаем. Лишь мы у высокой цели — то вливаясь в поток, то дробясь каплями и впивая их заодно.

Только для нас любовь стала жизнью, мы вошли в неё, как в первозданные стихии, мы мешаем струи бытия, в пене сливаем сердце с сердцем. Страстно расходятся эти потоки, ибо спор стихий есть высшая жизнь любви и сердце самого сердца.

Сладкий лепет неслышных желаний слышим мы одни и вперяем друг в друга зачарованные очи. Ни с чем не сравнится вкус рта и поцелуя. Всё, чего мы едва коснёмся, становится жаркими бальзамическими плодами, становится нежной, податливой грудью — жертвой отважной страсти.

Вечно растёт и цветёт влечение прижаться к возлюбленному, принять его внутрь, быть одно с ним, не противиться его жажде, растопиться в ответ, насыщаться друг другом — только друг другом.

Так мы навсегда погружены в любовь и высокое сладострастие с той поры, как угасла дикая, сумрачная искра прежнего мира. С той поры, как сомкнулся холм, взвился искрами погребальный костёр и лик земли растёкся, исчез перед содрогнувшейся душой.

Магия воспоминаний, сладкая дрожь священной скорби прозвенели в нас, охладили наш жар. Есть раны, что вечно болят. Божественная, глубокая печаль живёт в сердце у всех нас, растворяет, вбирает нас в единый поток.

И с этим потоком мы тайно изливаемся в океан жизни, в Бога, а из его сердца течём назад в наш круг. И дух высочайшего порыва пронизывает наш круговорот.

Потрясайте же золотыми цепями в изумрудах и рубинах, вскиньте сверкающие браслеты, — молния и звон. Из постелей влажной бездны, из могил и руин, с небесным румянцем на щеках, воспарите в многоцветное сказочное царство.

Пусть узнают люди, наши будущие товарищи, что мы готовим здесь для них все их радости. Они уйдут, ликуя, расстанутся с бледным существованием. О, как быстро протекло время, приди, любимая, поторопись!

Только помогите нам усмирить Духа земли, научитесь понимать смысл смерти, найти слово жизни; обернитесь. Скоро не будет твоей власти, твой заёмный свет померкнет, скоро одолеем тебя, Дух земли, — твое время прошло.

Густые длинные локоны, чистый лоб, узкий подбородок, большие глаза, устремлённые в пространство или, пожалуй, внутрь себя, нечто лунное и девическое во всём облике, — единственный дошедший до нас портрет гениального романтика Георга Филиппа Фридриха фон Гарденберга. Латинский псевдоним, который он перенял от одного из предков, буквально означает поле, готовое для вспашки, в переносном смысле — новый, обновлённый. Новалис изучал в Иене и Лейпциге гуманитарные науки, занимался физикой, геологией, горным делом, стал инспектором саксонских соляных копей.

В записях Новалиса — его знаменитых фрагментах — встречается фраза: «Первый поцелуй — начало философии». Два события определили его судьбу: знакомство с учением Фихте и любовь к 12-летней Софи фон Кюн. Об этой девочке известно немного; то, что известно, ничего общего с философией не имеет. Состоялось тайное обручение. Софи посылала Новалису неуклюжие письма с орфографическими ошибками. Она заболела, была трижды оперирована (по-видимому, туберкулёзный натёчник) и пятнадцати лет скончалась. От туберкулёза погиб и Новалис. В феврале 1801 года он ещё строит планы продолжения «Генриха фон Офтердингена», романа о Голубом цветке, говорит о «великолепных стихотворениях и песнях», которые собирается написать; в марте умирает, не дожив до 29 лет.

Строфы с прихотливой четверной рифмовкой, завораживающие своей музыкой, насыщенные экзальтированной и весьма смелой эротикой, были обнаружены в набросках второй, заключительной части «Офтердингена». О возможном содержании второй части сообщил Людвиг Тик, старший представитель кружка иенских романтиков. В рукописных материалах к роману говорится о монастыре, очередном приюте странствующего героя. Слышится далёкое пение братьев. Но это не живые монахи, а мир мёртвых.

ДЖОН КИТС (1795-1821)
JOHN KEATS

To Sleep

O soft embalmer of the still midnight,
Shutting, with careful fingers and benign,
Our gloom-pleased eyes, embowered from the light,
Enshaded in forgetfulness divine:
O soothest Sleep! if so it please thee, close
In midst of this thine hymn, my willing eyes,
Or wait the Amen, ere the poppy throws
Around my bed its lulling charities.
Then save me, or the passed day will shine
Upon my pillow, breeding many woes;
Save me from curious conscience, that still hoards
Its strength for darkness, burrowing like the mole;
Turn the key deftly in the oiled wards,
And seal the hushed casket of my soul.

К сну

Нежно бальзамирующий в тихой полночи, заботливыми перстами, благословением закрывающий нам глаза — избранники бед, что насытились светом и погрузились в сумрак божественного забвения, о, великий утешитель — Сон, сомкни, если тебе это угодно, мои глаза, готовые подчиниться, посреди этого гимна тебе или дождись, когда я окончу молитву, прежде чем мак убаюкает меня в моей колыбели. Спаси же меня, не то минувший день блеснёт на моей подушке, умножая невзгоды, спаси меня от пытливой совести, что тайно копит силу к приходу тьмы и подкрадывается, роя ходы, как крот. Поскорей поверни ключ в скважине, смазанной маслом, и замкни ночной ларец моей души.

Китс потерял восьмилетним ребёнком отца, подростком лишился матери, бросил школу, был учеником у военного хирурга, позднее сам врачевал в госпитале. Дружил с Шелли, восхищался Вордсвортом. Поэма «Эндимион», давно ставшая хрестоматийной, подверглась яростному разносу, который, возможно, приблизил его конец.

Летом 1818 г. хрупкий и болезненный Китс предпринял изнурительный поход пешком по британскому озёрному краю и шотландскому нагорью, вернувшись, застал

при смерти своего брата; вспышка семейной болезни — туберкулёза — заставила его искать исцеления в Италии; там он и умер.

Угасший в двадцать пять лет Китс — модельный образ английского романтизма, как Новалис — немецкого. Душа, которая мечется между красотой земного мира и мучительным переживанием человеческого удела, между предчувствием смерти и сознанием своего бессмертия в искусстве, между действительностью и сном. Конфликт этики и эстетики — вечная коллизия литературы, — по-видимому, завершается победой эстетики: поэт чувствует себя свободным от каких бы то ни было гражданских, идеологических и даже моральных обязательств. Истина воображения (*truth of imagination*) — вот высшая инстанция. Красота — последнее откровение истины.

За немногими исключениями (к которым нужно отнести покорившую европейский мир фигуру лорда Байрона), английская поэзия оказалась менее близка русским поэтам и читателям, чем немецкая и французская. Давно и неплохо переложенный на русский язык, Китс всё же не стал популярен в России. Ахматова, любившая Китса, цитирует сонет «К сну» (английский заголовок намеренно звучит и как глагол: «Спать») во второй части «Поэмы без героя»: «А ведь сон — это тоже вещьца, *soft embalmer*, Синяя Птица...».

КАРЛ АВГУСТ ГЕОРГ МАКСИМИЛИАН
фон ПЛАТЕН-ГАЛЛЕРМЮНДЕ (1796 – 1835)
KARL AUGUST GEORG MAXIMILIAN
von PLATEN-HALLERMUENDE

Tristan

Wer die Schönheit angeschaut mit Augen,
Ist dem Tode schon anheimgegeben,
Wird für keinen Dienst der Erde taugen,
Und doch wird er vor dem Tode beben,
Wer die Schönheit angeschaut mit Augen!

Ewig wahr für ihn der Schmerz der Liebe,
Denn ein Tor nur kann auf Erden hoffen,
Zu genügen einem solchen Triebe:
Wen der Pfeil des Schönen je getroffen,
Ewig wahr für ihn der Schmerz der Liebe.

Ach, er möchte wie ein Quell versiechen,
Jedem Hauch der Luft ein Gift entsaugen
Und den Tod aus jeder Blume riechen,
Wer die Schönheit angeschaut mit Augen,
Ach, er möchte wie ein Quell versiechen!

Тристан

Тот, кто видел воочью красоту, тот уже обречён смерти, не способен ни к какой земной службе, и всё же он будет, ожидая смерти, трепетать, — тот, кто видел воочью красоту.

Никогда не оставит его скорбь любви, ибо только глупец может надеяться на земле утолить такое вожделение; тот, кого пронзила стрела красоты, — никогда не оставит его скорбь любви.

Ах, иссохнуть, как ручей, вот чего он хочет, всосать яд из всякого дуновения воздуха, вдохнуть смерть из каждого цветка, — иссохнуть, как ручей, вот чего он хочет!

В дневниках, найденных после смерти графа Платена, подробно рассказано о муках неразделённой любви к надменным, щеголеватым однокашникам по кадетскому корпусу и молодым офицерам, любви, которую он воспринимает как постыдную страсть и одновременно стилизует в духе античного культа эфебов.

Обладатель громкого имени, Платен был всего лишь отпрыском обедневшей боковой линии рода; его отец исполнял должность лесничего у маркграфа Ансбах-Байрейтского. Платен окончил кадетское училище в Мюнхене (где чувствовал себя «как в клетке»), короткое время был пажом при баварском дворе, в чине подпоручика участвовал в походе союзных войск во Францию в последние месяцы империи Наполеона, вышел в отставку и финал своей короткой жизни встретил вдали от ненавистного

отечества, в любимой Италии. Он лежит в саду за оградой виллы Ландолина в Сиракузах.

Это был глубоко несчастный, одинокий и осмеянный (к чему приложил руку Гейне) человек с невзрачной, совсем непоэтической внешностью, всю жизнь скрывавший и не сумевший скрыть свой гомосексуализм. Мастер строгой формы, которую он довёл до филигранности, эстет-мечтатель и пессимист, перекликающийся с Шопенгауэром (которого он совсем не знал), певец смертоносной красоты, что отчасти делает его предшественником родившегося на четверть столетия позже Бодлера.

ГЕНРИХ ГЕЙНЕ (1797 — 1856)
HEINRICH HEINE

Nun ist es Zeit, daß ich mit Verstand
Mich aller Torheit entled'ge;
Ich hab' so lang als ein Komödiant
Mit dir gespielt die Komödie.

Die prächt'gen Kulissen, sie waren bemalt
Im hochromantischen Stile,
Mein Rittermantel hat goldig gestrahlt,
Ich fühlte die feinsten Gefühle.

Und nun ich mich gar säuberlich
Des tollen Tands entled'ge,
Noch immer elend fühl' ich mich,
Als spielt' ich noch immer Komödie.

Ach Gott! im Scherz und unbewußt
Sprach ich was ich gefühlet;
Ich hab' mit dem Tod in der eignen Brust
Den sterbenden Fechter gespielt.

Пора, наконец, взяться за ум, пора оставить эти глупости; я так долго, словно актёр, разыгрывал перед тобой комедию.

Роскошные кулисы были размалёваны в истинно романтическом стиле, мой рыцарский плащ отливал золотом, я был полон изысканнейших чувств.

И вот теперь я старательно отряхиваю от себя дурацкую мишуру, и всё ещё чувствую себя несчастным, словно всё ещё играю комедию.

Боже мой! шутя и не сознавая этого, я говорил о том, что чувствовал на самом деле, я был ранен насмерть, а играл умирающего фехтовальщика.

Гейне был для многих поколений в России любимцем, наравне с самыми драгоценными русскими поэтами, и, кажется, эта любовь уходит вместе с поколением, к которому принадлежит составитель. Хорошо помню, как я читал «Путевые картины» подростком в конце войны, катаясь вечерами в метро из конца в конец по линии Сокольники — Парк Культуры, так как в домах был выключен свет.

Гейне родился в Дюссельдорфе, был сыном состоятельного коммерсанта, племянником банкира. В Гёттингене дрался на дуэли и был изгнан из университета, продолжал учёбу в Берлине, слушал лекции Гегеля. Осенью 1824 года студент Гейне, всё ещё юный, белокурый и похожий на девушку, с палкой и заплечным мешком, бродил по Гарцу, нанёс визит в Веймаре священному старцу Гёте, с которым, оробев, почти не мог разговаривать. Сдав юридический экзамен, перешёл в протестантизм и объяснял этот шаг тем, что «свидетельство о крещении — входной билет в европейскую культуру». С начала тридцатых годов был эмигрантом в Париже, где и скончался от спинной сухотки, ослепший, пролежав семь лет в «матрачной могиле». В Дюссельдорфе находится памятник Гейне или, лучше сказать, памятник памятнику, разрушенному при националсоциализме: в траве лежат каменные обломки головы, фрагменты одежды.

Стихотворение заимствовано из цикла «Die Heimkehr» (1823-1824; канонический русский эквивалент — «Опять на родине», хотя Heimkehr, возвращение в родные места, подразумевает и возврат к прежним невзгодам). Гейне — один из сравнительно немногих немецких поэтов, блестяще переложённых на русский язык. Весной 1828 г. Гейне в письме из Мюнхена спрашивал Фарнхагена фон Энзе, знаком ли он с дочерьми графа Ботмера. «Одна из них уже не первой молодости, но бесконечно очаровательна. Она в тайном браке с моим лучшим здешним другом, молодым русским дипломатом Тютчевым. Обе дамы, мой друг Тютчев и я частенько обедаем вместе». Тютчев был первым русским переводчиком Гейне. Не раз переводилось и это стихотворение. Райский (в «Обрыве» Гончарова) выписывает его в качестве эпиграфа к своему ненаписанному роману.

ЕВГЕНИЙ АБРАМОВИЧ
БАРАТЫНСКИЙ (БОРАТЫНСКИЙ) (1800 — 1844)

Пироскаф

Дикою, грозною ласкою полны,
Бьют в наш корабль средиземные волны.
Вот над кормою стал капитан.
Визгнул свисток его. Братствуя с паром,
Ветру наш парус раздался не даром:
Пенясь, глубоко вздохнул океан!

Мчимся. Колёса могучей машины
Роют волнистое лоно пучины.
Парус надулся. Берег исчез.
Наедине мы с морскими волнами;
Только что чайка вьётся над нами
Белая, рея меж вод и небес.

Только вдали, океана жилища,
Чайке подобна, вод его птица,
Парус развив, как большое крыло,
Лодка рыбачья качается в море, —
С берегом набрежное скрылось, ушло!

Много земель я оставил за мною,
Вынес я много смятенной душою
Радостей ложных, истинных зол;
Много мятежных решил я вопросов
Прежде, чем руки марсельских матросов
Подняли якорь, надежды символ!

С детства влекла меня сердца тревога
В область свободную влажного бога;
Жадные длани я к ней простирал.
Тёмную страсть мою днесь награждая,
Кротко щадит меня немочь морская,
Пеною здравия брызжет мне вал!

Нужды нет, близко ль, далёко ль до берега!
В сердце к нему приготовлена нега.
Ижу Фетиду; мне жребий благой
Емлет она из лазоревой урны:
Завтра увижу я башни Ливурны,
Завтра увижу Элизий земной!

Гамлет-Баратынский, назвал его Пушкин, прибавив (в другом месте): «Он у нас оригинален, ибо мыслит». Баратынский вырос в богатом и благоустроенном тамбовском имении родителей. В 16 лет, из-за мальчишеской проказы, принявшей нешуточный оборот (вдвоём с приятелем стащили в знакомом доме дорогую табакерку и деньги), был изгнан из Пажеского корпуса, лишён права занимать государственную должность или быть офицером. Служил рядовым в Финляндии, рано заявил о себе как поэт, добился известности. Эта слава постепенно тускнела по мере того, как обозначился истинный масштаб его поэзии, от которой тянется прямая линия к Тютчеву и дальние нити — к русскому модернизму XX века.

В первой половине 20-х годов Баратынский сблизился с Рылеевым и Бестужевым (будущим Марлинским), но восстание на Сенатской площади обозначило водораздел: Баратынский не был гражданским поэтом.

Баратынский хорошо перенёс своё последнее путешествие из Марсея в Ливорно — об этом упомянуто в стихотворении, последнем из написанных им, — и неожиданно скончался в Неаполе, от неясного «лихорадочного припадка».

ФЁДОР ИВАНОВИЧ ТЮТЧЕВ (1803 — 1873)

Как океан объемлет шар земной,
Земная жизнь кругом объята снами;
Настанет ночь — и звучными волнами
Стихия бьёт о берег свой.

То глас её: он нудит нас и просит...
Уж в пристани волшебный ожил чёлн;
Прилив растёт и быстро нас уносит
В неизмеримость тёмных волн.

Небесный свод, горящий славой звездной,
Таинственно глядит из глубины, —
И мы плывём, пылающею бездной
Со всех сторон окружены.

У Тютчева была двойная репутация блестящего собеседника и любимца женщин. Существует донжуанский список Пушкина (наверняка неполный) — Тютчева сближает с Пушкиным влюбчивость, способность воспламениться, проведя с незнакомкой десять минут, — как и малоподходящая для покорителя сердец внешность.

Тютчев был маленького роста, болезненный и тщедушный, с редкими, рано начавшими седеть волосами, одевался довольно небрежно; этот человек не отличался ни честолюбием, ни сильной волей, скорее его можно было назвать слабохарактерным. Карьера его не интересовала. О его рассеянности ходили анекдоты. Однажды он явился на званый обед, когда гости уже вставали из-за стола. На другой день жены Тютчева не было дома, некому было заказать обед, он снова остался без еды. На третий день его нашли в Придворном саду (в Мюнхене): он лежал на скамейке без чувств. Остроты Тютчева, его *mots*, расходились по салонам, но сам он был начисто лишён тщеславия, в том числе и авторского, писал свои вирши мимоходом, не интересовался публикациями и терял рукописи. О том, что Тютчев — великий поэт, никто не догадывался, начиная с самого Тютчева.

Деятнадцати лет Тютчев прибыл в Германию на должность сверхштатного чиновника русской дипломатической миссии при баварском дворе и провёл в Мюнхене, с небольшими перерывами, без малого 15 лет. Здесь он женился, потерял жену, снова женился. Стихи Тютчева о природе, известные каждому русскому школьнику, на самом деле — о природе Верхней Баварии и написаны под впечатлением от поездок на озеро Тегернзее.

Вообще же написал он за сравнительно долгую жизнь немного, зрелые стихотворения составляют небольшой томик («Томов премногих тяжелей» — *Фет*). Державинская выпренность могла в Тютчеве показаться перепевом прошлого, — формальные

новшества его стиха, прорывы в космическое сознание стали вняты много десятилетий спустя; как поэт он принадлежал прошлому и будущему, но не настоящему.

Стихотворение, написанное не позднее начала 1830 года, напечатанное в пушкинском «Современнике» в 1836 г., относится ко времени, когда, кажется, ничего подобного в нашем отечестве ещё не появлялось.

«Как океан объемлет шар земной...» Есть мир дня и мир ночи. При взгляде отсюда, из дневного и умопостигаемого мира, сон представляется мнимостью, — но лишь при взгляде отсюда. Можно взглянуть на действительность из сна, и тогда окажется, что именно он реален. Маленький островок суши — вот что такое дневная действительность; а вокруг — бездонный и безбрежный океан.

МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ЛЕРМОНТОВ (1814—1841)

Ангел

По небу полуночи ангел летел,
И тихую песню он пел,
И месяц, и звёзды, и тучи толпой
Внимали той песне святой.

Он пел о блаженстве безгрешных духов
Под кущами райских садов.
О Боге великом он пел, и хвала
Его непритворна была.

Он душу младую в объятих нёс
Для мира печали и слёз;
И звук его песни в душе молодой
Остался — без слов, но живой.

И долго на свете томилась она,
Желанием чудным полна,
И звуков небес заменить не могли
Ей скучные песни земли.

Драгоценности столь высокой пробы мог выдавать в таком возрасте (17 лет) разве только Рембо. Ранняя зрелость Лермонтова непостижима. Но и вся его короткая жизнь полна загадок, — как и не вполне прояснённые обстоятельства смерти. Сосланный вторично на Северный Кавказ, он был убит выстрелом в грудь 15 июля 1841 г. на поединке с Мартыновым, у подножья горы Машук в окрестностях Пятигорска; тело лежало под проливным дождём несколько часов. Смерть гения, которому не успело исполниться 27 лет, — происшествие в том же ряду, что и гибель Пушкина тридцати семи с половиной лет, смерть дважды повешенного Рылеева, расправа с Кюхельбекером, с Одоевским, с Полежаевым, самоубийство Радищева, гражданская смерть и вечная ссылка Чернышевского, каторга Достоевского и так далее; к этому перечню, далеко не полному, можно прибавить раннюю смерть Блока, расстрел Гумилёва, безвестную гибель Мандельштама, самоубийство Цветаевой... «Конечно, мы знаем изгнание Данте, нищету Камюэнса, плаху Андрея Шенье — но до такого изничтожения писателей... всё-таки не доходили нигде» (Ходасевич).

АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ТОЛСТОЙ (1817 — 1875)

Средь шумного бала, случайно,
В тревоге мирской суеты
Тебя я увидел, но тайна
Твои покрывала черты.

Лишь очи печально глядели,
А голос так дивно звучал,
Как звон отдалённой сирели,
Как моря играющий вал.

Мне стан твой понравился тонкий
И весь твой задумчивый вид,
А смех твой, и грустный, и звонкий,
С тех пор в моём седце звучит.

В часы одинокие ночи
Люблю я, усталый, прилечь —
Я вижу печальные очи,
Я слышу весёлую речь.

И грустно я так засыпаю,
И в грёзах неведомых сплю.
Люблю ли тебя — я не знаю,
Но кажется мне, что люблю.

В 1864 году, на приёме в Зимнем, Александр II спросил Толстого, что нового в литературе. Не питая ни личных, ни литературных или политических симпатий к Чернышевскому, осуждённому на четырнадцать лет каторжных работ (император сократил срок наполовину), Толстой ответил: «Русская литература надела траур по Чернышевскому». Царь прервал его: «Прошу тебя. Толстой, никогда не упоминать при мне это имя...».

Флигель-адъютант и поэт, европеец с головы до ног и коренной русак, потомок двух древних родов, больше всего на свете любивший сидеть у себя в деревне, равно посмеивался и над славянолюбями, и над адептами утилитарной поэзии — демократами-разночинцами. Он оставил стихи, которые будут жить по крайней мере до тех пор, пока живы мы.

Можно было бы назвать жизнь графа Алексея Константиновича Толстого счастливой, если бы не многолетний недуг (бронхиальная астма), от которого он в конечном счёте и погиб, ещё не старым человеком, впрыснув себе во время особенно тяжёлого приступа повышенную дозу морфия.

АФАНАСИЙ АФАНАСЬЕВИЧ ФЕТ (1820 — 1892)

Измучен жизнью, коварством надежды,
Когда им в битве душой уступаю,
И днём и ночью смежаю я вежды
И как-то странно порой прозреваю.

Ещё темнее мрак жизни вседневной,
Как после яркой осенней зарницы,
И только в небе, как зов задушевный,
Сверкают звезд золотые ресницы.

И так прозрачна огней бесконечность,
И так доступна вся бездна эфира,
Что прямо смотрю я из времени в вечность
И пламя твоё узнаю, солнце мира.

И неподвижно на огненных розах
Живой алтарь мироздания курится,
В его дыму, как в творческих грёзах,
Вся сила дрожит и вся вечность снится.

И всё, что мчится по безднам эфира,
И каждый луч, плотский и бесплотный,
Твой только отблеск, о солнце мира,
И только сон, только сон мимолётный.

И этих грёз в мировом дуновенье,
Как дым, несусь я и таю невольно;
И в этом прозреньи, и в этом забвеньи
Легко мне жить и дышать мне не больно.

«Если спросить, как называются все страдания, все горести моей жизни? Я отвечу тогда: Фет...»

Имя *Фёт* (через «ё»; написание Фет утвердилось в результате журнальной опечатки) происходит от латинского *foetus*, «плод в чреве матери», «рождение». Скандальные, по понятиям времени, обстоятельства появления Фета на свет, полуеврейское происхождение, изнурившая Фета борьба за восстановление дворянского имени и сословных прав, отказ от союза с любимой девушкой и страшная смерть Марии Лазич

в огне, наконец, брак по расчёту... Всё это могло начисто отбить охоту писать стихи — но и сделало Фета великим лириком. Установить точную дату его рождения в орловском имении помещика Афанасия Шеншина так и не удалось. Неизвестно, кто был его отцом, во всяком случае, не Шеншин; по-видимому, и не Иоганн Фёт, дармштадский мелкий чиновник, муж его матери, увезённой в Россию. Подростком, в немецком пансионе, он узнал, что не будет больше носить фамилию Шеншин. Чтобы вернуть дворянство, Фет оставил университет, поступил на военную службу и дослужился до офицерского чина, но цели не добился. Женитьба поправила его дела, он стал помещиком, мировым судьей, камергером двора, разбогател и обрёл независимость, что, однако, не повлияло на его мировоззрение: он был пессимистом, мизантропом и безбожником. На вопрос, долго ли ему хочется жить, он ответил: «Как можно короче». К какому народу он хотел бы принадлежать? «Ни к какому».

Стихотворение (нужно обратить внимание на своеобразный ритм, близкий к некоторым античным метрам; Фет был знатоком латинской поэзии) написано в 1864 году, вошло в первый выпуск «Вечерних огней» В рукописи, ниже текста выписана (по-немецки) цитата из «Parerga» Шопенгауэра, любимого философа, чей главный труд Фет перевёл на русский язык: «Равномерность течения времени во всех головах убедительней, чем что-либо другое, доказывает, что мы все погружены в один и тот же сон, и более того, что этот сон видит Одно существо».

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ НЕКРАСОВ (1821 – 1877)

Зелёный Шум

Идёт-гудёт Зелёный Шум,
Зелёный Шум, весенний шум!

Играючи, расходится
Вдруг ветер верховой:
Качнёт кусты ольховые,
Подымет пыль цветочную,
Как облако, — всё зелено,
И воздух, и вода!

Идёт-гудёт Зелёный Шум,
Зелёный Шум, весенний шум!

Скромна моя хозяйшкa
Наталья Патрикеевна,
Воды не замути́т!
Да с ней беда случилася,
Как жил я лето в Питере...
Сама сказала, глупая,
Типун ей на язык!

В избе сам-друг с обманщицей
Зима нас заперла.
В мои глаза суровые
Глядит, — молчит жена.
Молчу — а дума лютая
Покоя не даёт:
Убить... так жаль сердечную!
Стерпеть — так силы нет!
А тут зима косматая
Ревёт и день, и ночь:
«Убей, убей изменницу!
Злодея изведи!
Не то весь век промаешься,
Ни днём, ни долгой ноченькой

Покоя не найдёшь.
В глаза твои бесстыжие
Соседи наплюют!..»
Под песню-вьюгу зимнюю
Окрепла дума лютая —
Припас я вострый нож...
Да вдруг весна подкралась...

Идёт-гудёт Зелёный Шум,
Зелёный Шум, весенний шум!

Как молоком облитые,
Стоят сады вишнёвые,
Тихохонько шумят;
Пригреты тёплым солнышком,
Шумят повеселелые
Сосновые леса;
А рядом новой зеленью
Лепечут песню новую
И липа бледнолистая,
И белая берёзонька
С зелёною косой!
Шумит тростинка малая,
Шумит высокий клён...
Шумят они по-новому,
По-новому, весеннему...

Идёт-гудёт Зелёный Шум,
Зелёный Шум, весенний шум!

Слабеет дума лютая,
Нож валится из рук,
И всё мне песня слышится
Одна — в лесу, в лугу:
«Люби, покуда любится,
Терпи, покуда терпится,
Прощай, пока прощается,
И — Бог тебе судья!»

Ярославский помещик Алексей Некрасов, игрок и жуир с замашками деспота, женился на 16-летней красавице, украинке или польке, брак был несчастливый, муж помыкал тихой и терпеливой женой, сын горячо сочувствовал матери, но перенял от отца страсть к охоте и картам. Семнадцати лет, с тетрадкой беспомощных ученических стихов, Николай Некрасов оказался без средств в Петербурге, жил в ночлежках и едва ли не побирался, стал мелким журналистом, в конце концов добился благосостояния, славы, сделался литературным начальством, оборотистым хозяином двух передовых и самых влиятельных литературных журналов, стал первым поэтом эпохи. Расставшись

с Авдотьей Панаевой после многих лет изнурительной связи, покупал женщин, крупно играл в карты, — был, по выражению Блока, «страстный человек и барин — этим всё сказано». Умер от мучительной болезни, оставив состояние простой, преданной ему женщине, с которой обвенчался перед смертью. До неузнаваемости исхудавшего Некрасова носили вокруг аналая.

Давно ушла в прошлое его деревня, выцвела гражданственность, обесценилась народность — нет прежней России. Некрасов остался с нами. Что бы ни случилось, он здесь, его строчки по-прежнему хватают за душу, его поэзия — как первая любовь. Некрасов вечен над всеми переменами вкуса.

ШАРЛЬ-ПЬЕР БОДЛЕР (1821 – 1867)
CHARLES-PIERRE BAUDELAIRE

L' Invitation au voyage

Mon amie, ma soeur,
Songe à la douceur
D'aller là-bas vivre ensemble!
Aimer à loisir,
Aimer et mourir
Au pays qui te ressemble;
Les soleils mouillés
Des ces ciels brouillés
Pour mon esprit ont les charmes
Si mystérieux
De tes traîtres yeux,
Brillant à travers leurs larmes.

Là, tout n'est qu'ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.

Des meubles luisants
Polis par les ans
Décoreraient notre chambre;
Les plus rares fleurs
Mêlant leurs odeurs
Aux vages senteurs de l'ambre,
Les riches plafonds,
Les miroirs profonds,
La splendeur orientale,
Tout y parlerait
A l'âme en secret
Sa douce langue natale.

Là, tout n'est qu'ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.

Vois sur ces canaux
Dormir ces vaisseaux

Dont l'humeur est vagabonde;
C'est pour assouvir
Ton moindre désir
Qu'ils viennent du bout du monde.
Les soleils couchants
Revêtent les champs
Les canaux, la ville entière,
D'hyacinthe et d'or.
Le monde s'endort
Dans une chaude lumière.

Là, tout n'est qu'ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.

Приглашение к путешествию

Дитя моё, моя сестра, подумай, как сладко уехать, жить вдвоём! Любить на воле, любить и умереть в стране, похожей на тебя. Влажные солнца этих переменчивых небес — в них для меня столько же загадочной прелести, как и в твоих неверных глазах, сияющих сквозь слёзы.

Там всё — красота и лад, роскошь, тишина и нега.

Блестящая, отполированная годами мебель украсит нашу комнату; невиданные цветы, чьи запахи смешаются с ароматом амбры, резные потолки, бездонные зеркала, восточное великолепие — всё будет тайно говорить душе сладостным языком родины.

Там всё — красота и лад, роскошь, тишина и нега.

Видишь — на этих каналах дремлют корабли, их тянет странствовать; готовые исполнить твою малейшую прихоть, они отправляются на край света. Закатные солнца одевают поля, каналы и весь город гиацинтом и золотом. И мир засыпает в теплом сиянии.

Там всё — красота и лад, роскошь, тишина и нега.

Летом 1857 г., после статьи-доноса в газете «Фигаро», парижская прокуратура возбудила дело против автора только что опубликованных «Цветов Зла». Суд оштрафовал Бодлера за оскорбление общественной морали на 300 франков, довольно большая сумма для вечно бедствующего поэта. Бодлер ответил: «Поэзия не имеет иной цели, кроме самой себя». Впрочем, императрица, которой он подал прошение, сократила сумму штрафа до 50 франков.

Рано лишившись отца, Бодлер не поладил с отчимом, промотал свою долю отцовского наследства, познакомился с «чёрной Венерой» — мулаткой Жанной Леммер-Дюваль, с которой сходилась и расходился всю жизнь. Был посетителем «клуба гашишистов» на первом этаже маленького отеля, где одно время проживал; вообще без конца переезжал с места на место, не всегда уплатив за квартиру. Участвовал в уличных боях в феврале 1848 г. в Париже. По-видимому, в ранней юности заподолучил венерическую болезнь. Разбитый параличом, умер в нищете, и Жанна поделила его участь.

Он был не только поэтом, какие рождаются, быть может, один раз за тысячу лет, но и замечательным прозаиком, и литературно-художественным критиком, первым во Франции пропагандировал Эдгара По и угадал гений Вагнера. Его рисунки пером

и цветными мелками — автопортреты и портреты женщин — выдают незаурядный талант, который обещал больше, чем дал.

Жюль Валлес описывает внешность Бодлера:

«Бритое, розоватое, одутловатое лицо, сальный нос, утолщённый на кончике, губы, капризно изогнутые, напряжённый взгляд; глаза, как две капли чёрного кофе. Глаза эти редко смотрят вам в лицо; он словно ищет что-то на столе, раскачивается и говорит тягучим голосом. Он носил на шее красный фуляровый платок, рубашку с широчайшим воротником, ходил в длинном просторном пальто, которое развевалось, как сутана. В нём было что-то от священника, он был похож на старуху, на бродячего комедианта — больше всего на комедианта...»

Нежное и баюкающее, волшебное стихотворение, в общем мало отвечающее названию сборника, — память о коротком романе с актрисой Мари Добрен; его название восходит к фортепьянной пьесе Вебера «Приглашение к танцу», оркестрованной Берлиозом. Страна, о которой здесь говорится, по общему мнению, — Голландия.

Летом 1962 г., во время московских гастролей театра «Рено — Барро», на вечере французской поэзии в Большом театре знаменитый актёр Жан-Луи Барро читал «Приглашение к путешествию», устремив лунатический взгляд в зал, почти шопотом произнося последние строки.

ПОЛЬ ВЕРЛЕН (1844 — 1896)
PAUL VERLAINE

Art poétique

De la musique avant toute chose
Et pour cela préfère l'Impair,
Plus vage et plus soluble dans l'air
Sans rien en lui qui pèse ou qui pose.

Il faut aussi que tu n'aïles point
Choisir tes mots sans quelque méprise
Rien de plus cher que la chanson grise
Où l'Indécis au Précis se joint.

C'est des beaux yeux derrière des voiles,
C'est le grand jour tremblant de midi,
C'est, par un ciel d'automne attiédi,
Le bleu fouillis des claires étoiles!

Car nous voulons la Nuance encor,
Pas la Couleur, rien que la Nuance!
Oh! la Nuance seule fiancée
Le rêve au rêve et la flûte au cor!

Fuis le plus loin la Pointe assassine,
L'Esprit cruel et le Rire impur,
Qui font pleurer les yeux de l'Azur,
Et tout cet ail de basse cuisine!

Prends l'éloquence et tord-lui le cou!
Tu fera bien, en train d'énergie,
De rendre un peu la Rime assagie.
Si l'on n'y veille, elle ira jusqu'où?

Oh! qui dira les torts de la Rime!
Quel enfant sourd ou quel nègre fou
Nous a forgé ce bijou d'un sou
Qui sonne creux et faux sous la lime?

De la musique encore et toujours!
Que ton vers soit la chose envolée,
Qu'on sent qui fuit d'une âme en allée
Vers d'autres cieux à d'autres amours.

Que ton vers soit la bonne aventure
Éparse au vent crispé du matin.
Qui va fleurant la menthe et le thym...
Et tout le reste est littérature.

Поэтическое искусство

Музыки — прежде всего, а для этого отдай предпочтение Нечётному, более зыбкому и тающему в воздухе, невесомому, — никакой позы.

Надо, чтобы ты отбирал слова не без некоторого презрения. Нет ничего дороже песни как бы слегка захмелевшей, где неопределённое сочетается с точным.

Это очи, подёрнутые поволокой, это дрожание жаркого полдня, это синь и прохлада осенних небес, усеянных ясными звёздами.

Ибо мы хотим Ньюанса — не цвета, а лишь Ньюанса! О, только оттенок способен обручить сон со сном и валторну с флейтой.

Беги подальше от мертвящего остроумия эффектных концовок, от безжалостного умничанья и нечистого смеха, что заставляют плакать глаза лазури, — и от всего этого чеснока пошлой кухни.

Сверни шею красноречию! Ты поступишь правильно, придав Рифме благоразумие — энергично, но в меру. Если не следить за ней, до чего она может дойти?

О, кто расскажет о вывихах Рифмы! Какой мальчишка, лишённый слуха, какой дикий негр сфабриковал для нас эту побрякушку, что издаёт пустой и ложный звук под напильником?

Музыки — вновь и всегда! Пускай твой стих станет крылатым и вырвется из души в иные небеса и к иной любви.

Пускай твой стих угадает твою судьбу, пусть он рассеется в зябком утреннем ветре, в цветении мяты и тимьяна... А прочее — литература.

Верлен, сын офицера, окончил в Париже лицей, стал чиновником, женился, был счастлив в браке и мог бы вести благополучное буржуазное существование, если бы не поэзия и пьянство. Он бросил семью и службу. Юный Рембо ворвался в его жизнь, сопровождал его в скитаниях по Северной Франции, Бельгии, Англии. За попытку убить Рембо в полуневменяемом состоянии «бедный Лелиан» отсидел два года в бельгийской тюрьме, сделался благочестивым католиком, пробовал вернуться в семью, снова пил. Последние годы провёл в кабаках, борделях и больницах.

«Art poétique», вызывающая полемика с Буало (и через него с Горацием), провозглашает новые принципы поэзии — отказ от прославленной французской ясности, логики, пластичности. При этом, однако, стихотворение демонстрирует те самые качества, которые поэт отвергает. Противопоставление музыки красноречию после Верлена стало традиционным. Блок ссылается на него в «Автобиографии».

ЖАН-НИКОЛА-АРТЮР РЕМБО (1854—1891)
JEAN-NICOLAS-ARTHUR RIMBAUD

Le Dormeur du val

C'est un trou de verdure où chante une rivière,
Accrochant follement aux herbes des haillons
D'argent; où le soleil, de la montagne fière,
Luit: c'est un petit val qui mousse de rayons.

Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue,
Et la nuque baignant dans le frais cresson bleu,
Dort; il est étendu dans l'herbe, sous la nue,
Pâle dans son lit vert où la lumière pleut.

Les pieds dans les graïeuls, il dort. Souriant comme
Sourirait un enfant malade, il fait un somme:
Nature, berce-le chaudement: il a froid.

Les parfums ne font pas frissonner sa narine.
Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine,
Tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit.

Спящий в долине

Вот зелёная прогалина, где поёт ручей, где лохмотья серебра капризно цепляются за травы; солнце бьёт с горделивых холмов; вот лощина в пене лучей.

Молодой солдат, рот открыт, с непокрытой головой, — утонув затылком в голубом влажном дёрне, спит; он простёрт в траве, над ним облака, он бледен на своём зелёном ложе, в потоках света.

Сапоги торчат из цветов, он спит. Улыбаясь, как улыбается больное дитя, он грезит. Природа, убаюкай его, согрей: ему холодно.

Его ноздри не вздрагивают от аромата цветов. Он спит под солнцем, положив руку на грудь, в покое. У него в боку справа две красных дыры.

На шестнадцатом году жизни Рембо ушёл из родительского дома в Шарлевиле, намереваясь добраться до Парижа, был задержан по дороге, возвращён, через месяц снова бежал, на этот раз в Бельгию. Третий побег из семьи, возможно, произошёл зимой 1871 г.; участвовал ли гениально одарённый, злой и упрямый подросток непосредственно в событиях, связанных с Парижской коммуной, остаётся спорным. Достоверно известно, что в октябре этого года он явился в столицу, окончательно оставив Шарлевиль, познакомился с Верленом (который был старше Рембо на десять лет) и стал его любовником. Нещадно помыкал добрым, вечно пьяным Верленом. На известной картине Фантен-Латура он сидит рядом с Верленом, подперев рукой подбородок; позади стоит Бодлер. Есть рисунок Верлена: 17-летний Рембо, брючки в обтяжку, курточка, руки засунуты в карманы, у него длинные волосы, шляпа, трубка в зубах.

Вдвоём отправились, неизвестно зачем, в Бельгию, оттуда в Англию; ютились где попало, на какое-то время расстались, встретились летом 1873 г. в Брюсселе; здесь во время ссоры на улице Верлен ранил друга из пистолета и сел за это в тюрьму. Всё написанное Рембо было создано между шестнадцатью и девятнадцатью годами. Он завербовался в голландскую армию, дезертировал на Суматре, вернулся в Европу на британском корабле, несколько лет спустя оказался в Египте, был надсмотрщиком на Кипре, коммерсантом на Ближнем Востоке, торговал контрабандным оружием в африканских колониях, поставлял вооружение абиссинскому негусу. Тридцати семи лет был оперирован по поводу саркомы (ампутация бедра), собирался вернуться в Африку и умер в Марселе, давно потеряв всякий интерес к литературе, ничего не зная о своей уже гремевшей к этому времени славе, не подозревая о том, что потомство провозгласит его величайшим французским поэтом.

Сонет «Спящий в долине» (октябрь 1870; обратите внимание на смелые enjambements — переносы), по-видимому, внушён впечатлениями франко-прусской войны.

РЕДЪЯРД КИПЛИНГ (1865 – 1936)
RUDYARD KIPLING

Bridge-guard in the Karroo

Sudder the desert changes,
The raw glare softens and clings,
Till the aching Oudtshoorn ranges
Stand up like the thrones of Kings —

Ramparts of slaughter and peril —
Blazing, amazing, aglow —
'Twixt the sky-line's belting beryl
And the wine-dark flats below.

Royal the pageant closes,
Lit by the last of the sun —
Opal and ash-of-roses,
Cinnamon, amber, and dun.

The twilight swallows the thicket,
The starlight reveals the ridge.
The whistle shrills to the picket —
We are changing guard on the bridge.

(Few, forgotten and lonely,
Where the empty metals shine —
No, not combatants — only
Details guarding the line.)

We slip through the broken panel
Of fence by the ganger's shed;
We drop to the waterless channel
And the lean track overhead;

We stumble oh refuse of rations,
The beef and the biscuit-tins;
We take our appointed stations,
And the endless night begins.

We hear the Hottentot herders
As the sheep click past to the fold —
And the click of the restless girders
As the steel contracts in the cold —

Voices of jackals calling
And, loud in the hush between,
A morsel of dry earth falling
From the flanks of the scarred ravine.

And the solemn firmament marches,
And the hosts of heaven rise
Framed through the iron arches —
Banded and barred by the ties,

Till we feel the far track humming,
And we see her headlight plain,
And we gather and wait her coming —
The wonderful north-bound train.

(Few, forgotten and lonely,
Where the white car-windows shine —
No, not combatants — only
Details guarding the line.)

Quick, ere the gift escape us!
Out of the darkness we reach
For a handful of week-old papers
And a mouthful of human speech.

And the monstrous heaven rejoices,
And the earth allows again
Meetings, greetings, and voices
Of women talking with men.

Стража на мосту через Карру

Внезапно всё меняется — пустыню не узнать, яркие краски бледнеют, слипаются, пока не встанут вдали тоскующие Оудсхурнские горы, словно троны королей, — уступы резни и опасности, пылающие, огнедышащие, сбивающие с толку, — между стальным бериллом небес и тёмной, как вино, равниной.

День угасает по-царски, в последних лучах солнца, — опал, розовый пепел, корица, умбра и полумрак.

Сумерки поглощают чащу, при свете звёзд вырисовывается кромка берега, свисток зовёт — мы заступаем на вахту: смена караула на мосту.

(Кучка солдат, забытые и одни, там, где поблескивают голые рельсы; не боевой отряд, какое там, — просто сторожевая команда охраняет путь).

Мы лезем через поломанную ограду рядом с сараем десятника, мы съезжаем к высокому водостоку под рельсовой насыпью,

натываемся на объедки пайков, жестянки из-под говядины и галет, мы расходимся по постам, и начинается бесконечная ночь.

Мы слышим возгласы пастухов-готтентотов, когда загоняют овец в загон, слышим, как щёлкают языком неумимые носильщики, словно сталь сжимается от холода, —

зовущий вой шакалов и громким шорохом в тишине осыпающиеся комки сухой земли по бокам усеянного рубцами оврага,

пока не донесётся издали гудение рельсов, пока не увидим фонарь локомотива, — и сходимся вместе, и ждём, когда подойдёт дивный поезд, идущий на север.

(Кучка солдат, забытые и одни, там, где светятся белые окна вагонов; не боевой отряд, какое там, — просто сторожевая команда охраняет путь).

Живей, пока подарок не ускользнул! Мы выхватываем из темноты охапку газет недельной давности и пригоршню человеческой речи.

И чудовищное небо ликует, и земле вновь позволены встречи, приветствия, голоса женщин, которые говорят с мужчинами.

Чеканный ритм, короткие строчки, как стук сапог, одиночество, отвага, экзотика, всё, что когда-то очаровало читателей Киплинга. «Трубадур Британской империи» и колониальный романтик, в котором хотели видеть воплощение мужественности, выносливости, воинского долга и презрения к смерти, был небольшого роста, лысоват, близорук, с детства в очках, зато носил лихие военные усы. Он родился в Бомбее, хинди был его вторым родным языком. Окончив колледж в Англии, вернулся в Индию, стал довольно известным журналистом, в газетах были напечатаны и его первые стихи. В 90-х годах обосновался в Англии, в 1900 году отправился на театр военных действий в Южную Африку (англо-бурская война). Крылатая фраза «несите бремя белого человека» утвердила его репутацию поборника цивилизаторской миссии англичан в мире; как поэт и прозаик он добился неслыханной популярности, был чрезвычайно любим и в России. В 1907 г. стал нобелевским лауреатом. Счастливая судьба.

РАЙНЕР МАРИЯ РИЛЬКЕ (1875—1926)
RAINER (RENÉ) KARL WILHELM
JOHANN JOSEPH MARIA RILKE

Duineser Elegien. Die dritte Elegie

Eines ist, die Geliebte zu singen. Ein anderes, wehe,
jenen verborgenen schuldigen Fluß-Gott des Bluts.
Den sie von weitem erkennt, ihren Jüngling, was weiß er
Selbst von dem Herren der Lust, der aus dem Einsamen oft,
ehe das Mädchen noch linderte, oft auch als wäre sie nicht,
ach, von welchem Unkenntlichen tiefend, das Gotthaupt
aufhob, aufrufend die Nacht zu unendlichem Aufruhr.
O des Blutes Neptun, o sein furchtbarer Dreizack.
O der dunkle Wind seiner Brust aus gewundener Muschel.
Horch, wie die Nacht sich muldet und höhlt. Ihr Sterne,
stammt nicht von euch des Liebenden Lust zu dem Antlitz
seiner Geliebten? Hat er die innige Einsicht
in ihr reines Gesicht nicht aus dem reinen Gestirn?

Du nicht hast ihn, wehe, nicht seine Mutter
hat ihm die Bogen der Braun so zur Erwartung gespannt.
Nicht an dir, ihn fühlendes Mädchen, an dir nicht
bog seine Lippe sich zum fruchtbarern Ausdruck.
Meinst du wirklich, ihn hätte dein leichter Auftritt
also erschüttert, du, die wandelt wie Frühwind?
Zwar du erschrakst ihm das Herz; doch ältere Schrecken
stürzten in ihm bei dem berührenden Anstoß.
Ruf ihn... du rufst ihn nicht ganz aus dunkeltem Umgang.
Freilich, er *will*, er erspringt; erleichtert gewöhnt er
sich in dein heimliches Herz und nimmt und beginnt sich.
Aber begann er sich je?
Mutter, *du* machtest ihn klein, du warst, die ihn anfang;
dir war er neu, du beugtest über die neuen
Augen die freundliche Welt und wehrtest der fremden.
Wo, ach, hin sind die Jahre, da du ihm einfach
mit der schlanken Gestalt wallendes Chaos vertratst?
Vieles verbargst du ihm so; das nächtlich-verdächtige Zimmer
machtest du harmlos, aus deinem Herzen voll Zuflucht
machtest du menschlichen Raum seinem Nacht-Raum hinzu.
Nicht in die Finsternis, nein, in dein näheres Dasein
hast du das Nachtlicht gestellt, und es schien wie aus Freundschaft.
Nirgends ein Knistern, das du nicht lächelnd erklärtest,
so als wüßtest du längst, *wann* sich die Diele benimmt...
Und er horchte und linderte sich. So vieles vermochte
zärtlich dein Aufstehn; hinter den Schrank trat

hoch im Mantel sein Schicksal, und in die Falten des Vorhangs
paßte, die leicht sich verschob, seine unruhige Zukunft.

Und er selbst, wie er lag, der Erleichterte, unter
schlafenden Lidern deiner leichten Gestaltung
Süße lösend in den gekosteten Vorschlaf —:
schien ein Gehüteter... Aber *innen*: wer wehrte,
hinderte ihn in ihm die Fluten der Herkunft?
Ach, da *war* keine Vorsicht im Schlafenden; schlafend,
aber träumend, aber in Fiebern: wie er sich ein-ließ.
Er, der Neue, Scheuende, wie er verstrickt war,
mit des innern Geschehns weiterschlagenden Ranken
schon zu Mustern verschlungen, zu würgendem Wachstum, zu tierhaft
jagenden Formen. Wie er sich hingab —. Liebe.
Liebte sein Inneres, seiners Inneren Wildnis,
diesen Urwald in ihm, auf dessen stummem Gestürztsein
lichtgrün sein Herz stand. Liebe. Verließ es, ging die
eigenen Wurzeln hinaus in gewaltigen Ursprung,
wo seine kleine Geburt schon überlebt war. Liebend
stieg er hinab in das ältere Blut, in die Schluchten,
wo das Furchtbare lag, noch satt von den Vätern. Und jedes
Schreckliche kannte ihn, blinzelte, war wie verständigt.
Ja, das Entsetzliche lächelte... Selten
Hast du so zärtlich gelächelt, Mutter. Wie sollte
Er es nicht lieben, da es ihm lächelte. *Vor* dir
hat er's geliebt, denn, da du ihn trugst schon,
war er im Wasser gelöst, das den Keimenden leicht macht.
Siehe, wir lieben nicht, wie die Blumen, aus einem
einzigem Jahr; uns steigt, wo wir lieben,
unvordenklicher Saft in die Arme. O Mädchen,
dies: daß wir liebten *in* uns, nicht Eines, ein Künftiges, sondern
das zahllos Brausende; nicht ein einzelnes Kind,
sondern die Väter, die wie Trümmer Gebirgs
uns im Grunde beruhen; sondern das trockene Flußbett
einstiger Mütter —; sondern die ganze
lautlose Landschaft unter dem wolkigem oder
reinen Verhängnis — : *dies* kam dir, Mädchen, zuvor.
Und du selber, was weißt du —, du locktest
Vorzeit empor in dem Liebenden. Welche Gefühle
wühlten herauf aus entwandelten Wesen. Welche
Frauen hasten dich da. Was für finstere Männer
regtest du auf im Geäder des Jünglings? Tote
Kinder wollten zu dir... O leise, leise
Tu ein liebes vor ihm, ein verlässliches Tagwerk, — führ' ihn
nah an den Garten heran, gib ihm der Nächte
Übergewicht...

Verhalte ihn...

Дуинские элегии. Третья элегия

(Мы помещаем вместо подстрочного перевода интерпретирующий перевод-пересказ А.И.Неусыхина).

«Родовое наследие хаоса и родовая чувственность: таинственный, отягчённый виною бог крови. Нептун крови со своим страшным трезубцем подымает свою голову ещё раньше, чем юноша узнал о нём и о девушке; он зажигает мятеж в ночи. Но не с чистых ли звёзд исходит внутреннее прозрение влюблённого в чистое лицо возлюбленной?

Не лёгкая поступь девушки так потрясла юношу: ты, правда, испугала его, но в нём жили и более древние страхи. В детстве мать заменяла ему бурлящий хаос; его рок прятался в плаще за шкафом, а его беспокойное будущее помещалось в складках портьеры.

Мать охраняла его сон. Но во сне он грезил родовым наследием; он любил дикую чащу своего внутреннего мира, первобытный лес, на немой опрокинутости которого стояло его светло-зелёное сердце. Он спускался вслед за корнями в ущелья, где лежало ужасное, ещё сытое его отцами. И каждый ужас знал и понимал его. Чудовищное улыбалось ему нежнее матери. И он любил это ещё раньше, чем любил мать. Мы любим не так, как цветы, не ежегодно. Нам вливаются в кровь соки незапамятных времён. И вот, девушка, всё это предшествовало его любви к тебе.

Ты вызвала в нём довременность. Какие женщины ненавидели тебя в нём! Каких угрюмых мужчин пробудила ты в его жилах! Мёртвые дети хотят к тебе... О, сделай пред ним тихо что-нибудь любовное, надёжное, удержи его...»

Можно было бы поставить эпитафией к творчеству Рильке слова Хайдеггера (пер. В.Бибихина):

«...Мысль даёт языку слово. Язык есть дом бытия. В жилище языка обитает человек. Мыслители и поэты — хранители этого жилища. Их стража — осуществление открытости бытия, насколько они дают ей слово в своей речи, тем сохраняя её в языке. Мысль не потому становится прежде всего действием, что от неё исходит воздействие или что она прилагается к жизни. Мысль действует, поскольку мыслит».

Рильке придумал себе в юности рыцарскую генеалогию, но был выходцем из скромной полубуржуазной среды: отец — железнодорожный чиновник Был уроженцем Праги, перебрался в Германию, в юности дважды, вместе с Лу Андреас-Саломе, совершил поездку по России, написал несколько стихотворений на русском языке (ему принадлежит и выполненный позднее превосходный немецкий перевод «Слова о полку Игореве»). Многие годы скитался по Западной Европе. Всю жизнь Рильке зависел от помощи меценатов. Жил в замке Дуино на Адриатическом море близ Триеста у княгини Марии Турн-и-Таксис (Третья элегия закончена осенью 1913 г.), последние годы провёл в «замке Мюзон» — домике в Швейцарии, который подарили ему друзья, — где и скончался от злокачественной болезни крови. Рильке был красивым, очень тихим и молчаливым, «таинственным», как выразился Стефан Цвейг, деликатным и скромным человеком, громкой славой был обойдён и меньше всего походил на того, кем он был на самом деле: величайшим немецким поэтом своего века. Письмо Пастернака от 12 апреля 1926 года, где он говорит о том, что обязан Рильке основными чертами своего характера, всем складом духовной жизни («они созданы Вами»), успело застать Рильке в живых.

ГИЙОМ АПОЛЛИНЕР (1880 – 1918)
GUILLAUME APOLLINAIRE

Le pont Mirabeau

Sous le pont Mirabeau coule la Seine
Et nos amours
Faut-il qu'il m'en souveinne
La joie venait toujours après la peine

Vienne la nuit sonne l'heure
Les jours s'en vont je demeure

Les mains dans les mains restons face à face
Tandis que sous
Le pont de nos bras passe
Des éternels regards l'onde si lasse

Vienne la nuit sonne l'heure
Les jours s'en vont je demeure

L'amour s'en va comme cette eau courante
L'amour s'en va
Comme la vie est lente
Et comme l'Espérance est violente

Vienne la nuit sonne l'heure
Les jours s'en vont je demeure

Passent les jours et passent les semaines
Ni temps passé
Ni les amours reviennent
Sous le pont Mirabeau coule la Seine

Vienne la nuit sonne l'heure
Les jours s'en vont je demeure

Мост Мирабо

Под мостом Мирабо течёт Сена, и наша любовь — надо ли вспоминать. Радость всегда приходила следом за болью.

Пусть ночь придёт, пусть пробьёт час. Уходят дни — я остаюсь.

Взявшись за руки, лицом к лицу, будем стоять, пока под мостом наших рук катятся волны, усталые от вечных взглядов.

Пусть ночь придёт, пусть пробьёт час. Уходят дни — я остаюсь.

Любовь уходит, как текучая вода — любовь уходит. Как медлительна жизнь, и как неистова Надежда.

Пусть ночь придёт, пусть пробьёт час. Уходят дни — я остаюсь.

Проходят дни, и проходят недели. Ни время, что миновало, ни любовь не возвращаются. Под мостом Мирабо течёт Сена.

Пусть ночь придёт, пусть пробьёт час. Уходят дни — я остаюсь.

Внебрачный сын офицера-итальянца и девушки из польского шляхетского рода, ребёнком привезённый во Францию, Вильгельм Аполлинарий де Костровицкий переделал два своих имени во французский псевдоним. Персонаж в духе Вийона; провёл юность в Париже, шатаясь по значным местам Монпарнаса и мастерским художников на Монмартре; кормился случайными заработками, дружил с Матиссом, Браком, Пикассо, с рано умершим Альфредом Жарри, предтечей сюрреализма и абсурдного театра; много лет вздыхал по толстой коротконогой Мари Лорансен, любовнице таможенника Руссо, который изобразил обоих, Мари и Аполлинера, на полотне «Художник и муза». Накануне Мировой войны Аполлинер был душой кружка молодых поэтов-авангардистов. Отправился добровольцем на фронт и был тяжело ранен осколком снаряда в голову. За два дня до заключения мира умер от испанки.

В прозаическом переводе мы вынуждены расставлять знаки препинания, которых нет в поэтическом оригинале: Аполлинер стал первым печатать свои стихи без пунктуации.

Мост чарующих строк с монотонным, похожим на бой часов или заклинание рефреном, в действительности мало привлекателен; он находится в промышленном районе на юго-западе Парижа, по обе стороны реки тянутся унылые безобразные дома.

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ БЛОК (1880—1921)

Последнее напутствие

Боль проходит понемногу,
Не навек она дана.
Есть конец мятежным стонам.
Злую муку и тревогу
Побеждает тишина.

Ты смежил больные вежды,
Ты не ждёшь — она вошла.
Вот она — с хрустальным звоном
Преисполнила надежды,
Светлым кругом обвела.

Слышишь ты сквозь боль мучений,
Точно друг твой, старый друг,
Тронул сердце нежной скрипкой?
Точно лёгких сновидений
Быстрый рой домчался вдруг?

Это — лёгкий образ рая,
Это — милая твоя.
Ляг на смертный одр с улыбкой,
Тихо грезить, замыкая
Круг постылый бытия.

Протянуться без желаний,
Улыбнуться навсегда,
Чтоб в последний раз проплыли
Мимо, сонно, как в тумане,
Люди, зданья, города...

Чтобы звуки, чуть тревожа
Лёгкой музыкой земли,
Прозвучали, истомили
Над последним миром ложа
И в иное увлекли...

Лесть, коварство, слава, золото —
Мимо, мимо, навсегда...
Человеческая тупость —
Всё, что мучило когда-то,
Забавляло иногда...

И опять — коварство, слава,
Золото, лесть, всему венец —
Человеческая глупость,
Безысходна, величава,
Бесконечна... Что ж, конец?

Нет... ещё леса, поляны,
И просёлки, и шоссе,
Наша русская дорога,
Наши русские туманы,
Наши шелесты в овсе...

А когда пройдёт всё мимо,
Чем тревожила земля,
Та, кого любил ты много,
Поведёт рукой любимой
В Елисейские поля.

«Каждый вершок меня — король» (Every inch a king), — говорит Лир. Если можно назвать Поэта, верно себе в каждой строчке и каждой подробности своей биографии, в своём облике, в своей судьбе, то это — Блок. Величайший русский поэт XX столетия, занявший в этом веке место, сопоставимое с местом Пушкина в девятнадцатом, Блок закрыл девятнадцатый век, как Пушкин — восемнадцатый. Солнце нашей поэзии закатилось, писал Тургенев в некрологе Пушкина, — в следующем столетии над русской поэзией поднялось ночное солнце, лунный диск Блока.

Блок разделил свои стихотворения на три книги, что в общем соответствует трём этапам его творчества, — можно сказать, трём периодам человеческой жизни: ранней юности, молодости, зрелости. В годы революции, в которой он увидел историческое возмездие своему классу, своей эпохе, грандиозный акт расправы и прощание с исчезнувшим себя европейским гуманизмом, — он заболел цынгой, которая осложнилась психическим расстройством и смертельным заболеванием сердца. Как Пушкин его предсмертной речи, он умер оттого, что ему в этом мире, в этой стране больше нечем было дышать.

ВЛАДИСЛАВ ФЕЛИЦИАНОВИЧ ХОДАСЕВИЧ
(1886 — 1939)

Баллада

Сижу, освещаемый сверху,
Я в комнате круглой моей,
Смотрю в штукатурное небо
На солнце в шестнадцать свечей.

Кругом — освещённые тоже,
И стулья, и стол, и кровать.
Сижу — и в смущенье не знаю,
Куда бы мне руки девать.

Морозные белые пальцы
На стёклах беззвучно цветут,
Часы с металлическим шумом
В жилетном кармане идут.

О, косная, нищая скудость
Безвыходной жизни моей!
Кому мне поведать, как жалко
Себя и всех этих вещей?

И я начинаю качаться,
Колени обнявши свои,
И вдруг начинаю стихами
С собой говорить в забытии.

Бессвязные, страстные речи!
Нельзя в них понять ничего,
Но звуки правдивее смысла,
И слово сильнее всего.

И музыка, музыка, музыка
Вплетается в пенье моё,
И узкое, узкое, узкое
Пронзает меня лезвиё.

Я сам над собой вырастаю,
Над мёртвым встаю бытиём,
Стопами в подземное пламя,
В текучие звёзды челом.

И вижу большими глазами —
Глазами, быть может, змеи —
Как пеню дикому внемлют
Несчастные вещи мои.

И в плавный, вращательный танец
Вся комната мерно идёт,
И кто-то тяжёлую лиру
Мне в руки сквозь ветер даёт.

И нет штукатурного неба
И солнца в пятнадцать свечей:
На гладкие чёрные скалы
Стопы опирает — Орфей.

Стихотворение написано зимой 1921 года и дало название предпоследнему прижизненному сборнику «Тяжёлая лира».

«О, если б мой предсмертный стон /Облечь в отчётливую оду!» Это программа Ходасевича, поэта, противостоявшего всяческим попыткам воспроизвести хаос жизни средствами самого хаоса. Для него это означало бы капитулировать перед хаосом. Преодолеть хаос дисциплиной языка, мужеством мысли, точностью, краткостью, концентрацией; не обольщаться иллюзией, будто в самой жизни можно отыскать присутствие высшего разума, но внести порядок в хаос жизни.

Ходасевич был сыном польского отца и еврейской матери. Лучшее из написанного им создано в Берлине и в Париже, где он сделался бесспорным первым поэтом русского Зарубежья, о чём, впрочем, догадались не сразу. Не слишком известный при жизни, Ходасевич был почти забыт после смерти. Болезненный, желчный, не приспособленный «жить» и радоваться жизни, не умеющий лгать — прямой и бесстрашный, — он всю жизнь бедствовал: и в России, которую он оставил в 1922 г., и в европейских столицах. Последние десять лет почти не писал стихов, перебивался рецензиями и превосходно написанными критическими и мемуарными статьями — для «Дней» Керенского, «Возрождения» Струве и «Последних новостей» Милюкова, который его только терпел.

«Мы сидим с Ходасевичем в остывшей к ночи комнате, вернее, как почти всегда, когда мы дома, он лежит, а я сижу в ногах у него, завернувшись в бумазейный капотик, и мы говорим о России, где начинается стремительный конец всего — и старого, и нового, блеснувшего на миг. Всего, что он любил... Я говорю о том, что для меня он, не имеющий в себе ни капли русской крови, есть олицетворение России, что я не знаю никого, более связанного с русским Ренессансом первой четверти века, чем он... Он сам есть часть этого Ренессанса, один из камней здания, от которого скоро не останется ничего» (Н. Берберова).

Ходасевич избежал казни на родине и умер мучительной смертью от рака поджелудочной железы в Париже.

НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ ГУМИЛЁВ (1886 – 1921)

Мои читатели

Старый бродяга в Аддис-Абебе,
Покоривший многие племена,
Прислал ко мне чёрного копыеносца
С приветом, составленным из моих стихов.
Лейтенант, водивший канонерки
Под огнём неприятельских батарей,
Целую ночь над южным морем
Читал мне на память мои стихи.
Человек, среди толпы народа
Застреливший императорского посла,
Подошёл пожать мне руку,
Поблагодарить за мои стихи.

Много их, сильных, злых и весёлых,
Убивавших слонов и людей,
Умиравших от жажды в пустыне,
Замерзавших на кромке вечного льда,
Верных нашей планете,
Сильной, весёлой и злой,
Возят мои книги в седельной сумке,
Читают их в пальмовой роще,
Забывают на тонущем корабле.

Я не оскорбляю их неврастенией,
Не унижаю душевной теплотой,
Не надоедаю многозначительными намёками
На содержание выеденного яйца.
Но когда вокруг свищут пули,
Когда волны ломают борта,
Я учу их, как не бояться,
Не бояться и делать что надо.

И когда женщина с прекрасным лицом,
Единственно дорогим во вселенной,
Скажет: я не люблю вас,

Я учу их, как улыбнуться,
И уйти, и не возвращаться больше.
А когда придёт их последний час,
Ровный, красный туман застелит взоры,
Я научу их сразу припомнить
Всю жестокую, милую жизнь,
Всю родную, странную землю
И, представ перед ликом Бога
С простыми и мудрыми словами,
Ждать спокойно Его суда.

Гумилёв, путешественник и волонтёр первой Мировой войны, в 1921 году расстрелянный новой властью, был представителем нового эстетизма, можно сказать — принадлежал к особой породе людей, появившейся в разных странах Европы к концу 10-х — началу 20-х годов. Можно отнести к этому типу Андре Мальро, Эрнста Юнгера, графа Анри де Монтерлана. Нечто общее связывает всех этих писателей, чья муза — опасность, чей пароль — активизм. Некий орден воинов красоты; они могут сражаться под знамёнами разного цвета, подчас принадлежат враждующим лагерям, но, конечно, это не политики, в лучшем случае — политические романтики. Холодные и отважные, мало склонные к юмору, они на самом деле опьянены. Героика и авантюризм, навязчивое желание быть мужчиной и человеком действия — и вместе с тем созерцателем и эстетом.

ГОТФРИД БЕНН (1886 — 1956)
GOTTFRIED BENN

Nur zwei Dinge

Durch so viel Formen geschritten,
durch Ich und Wir und Du,
doch alles blieb erlitten
durch die ewige Frage: wozu?

Das ist eine Kinderfrage.
Dir wird erst spät bewußt,
es gibt nur eines: ertrage
— ob Sinn, ob Sucht, ob Sage —
dein fernbestimmtes: Du mußt.

Ob Rosen, ob Schnee, ob Meere,
was alles verblühte, verblich,
es gibt nur zwei Dinge: die Leere
uns das gezeichnete Ich.

Только две вещи

Пройдя через такое множество форм, через Я, через Мы, через Ты, — неизбывным остался выстраданный, вечный вопрос: зачем?

Детский вопрос! Лишь потом, позже дойдёт до тебя — считай это смыслом, страстью, преданием — твоё предназначение: ты должен.

Розы, снег, моря — всё, что процвело, увяло. Есть только две вещи: пустота и отмеченное знаком Я.

Бенн сказал в 1951 году в речи перед марбургскими студентами: «Вы можете научиться эквилибристике, научиться плясать на канате, орудовать противовесом, ходить на ногтях, — но ворожить словом вы или можете, или не можете. Слово есть фаллос духа, его корни — в центре. Вдобавок эта укоренённость национальна. Картины, статуи, сонаты, симфонии интернациональны, стихи — никогда. Нечто непереводимое на другой язык, вот как можно определить стих. Сознание вырастает в слова, сознание трансцендирует в слова».

До начала 30-х годов Бенн, по профессии врач-дерматовенеролог, был известен как жёсткий и жестокий поэт-экспрессионист; его позднейшая поэзия совершенно

другого рода. Увлечение Бенна нацизмом, восторг рафинированного интеллигента перед зрелищем орущих орд оказались, как и у Хайдеггера, недолговечны. Бенн избрал армию как «аристократическую форму» внутренней эмиграции — вновь, как в первую Мировую войну, стал военным врачом. В 1938 г. он был исключён из имперской палаты письменности с запрещением публиковаться. После войны зарабатывал на жизнь медицинской практикой и пережил второй после 20-х годов пик литературной славы. Поэт (а также эссеист и новеллист) абсолютного совершенства формы, предельной сжатости, таинственной музыкальности, глубокой, затаённой, очень неоднозначной мысли, убеждённый, что изоляция художника. — его естественное и необходимое состояние, он сумел доказать правоту слов Адорно о том, что лишь ценою отказа от истёртой коммуникации одинокая речь художника находит дорогу к людям. Солидный, сдержанно-корректный, с склонностью к импозантной полноте, с внешностью профессора или директора крупной фирмы, Бенн был «культурпессимистом». Бенн вещал об историческом и витальном упадке белой расы в результате интеллектуализации (*Verhirnung*). Бенн заштемпелёван как нигилист. Но кое-что — интонация, мировоззрение — порой неожиданно сближает его с Тютчевым.

Стихотворение, написанное в безупречной классической манере (в эпоху, когда рифма и строгий размер дискредитированы в западной поэзии), помеченное январём 1953 г., вошло в последний прижизненный сборник «Дестилляции», где оно стоит на предпоследнем месте, перед «Эпилогом»; мы можем считать его поэтическим завещанием Бенна.

В тринадцати ямбических строчках — зловещее число! — сконцентрирована проблематика современного человека: пройдя опыт индивидуализма, коллективизма, дружеского или супружеского партнёрства, — что же остаётся? Долг существования и две вещи: ничто и твоё отмеченное некой печатью Я.

TOMAC CTEPH3 ЭЛИОТ (1888—1965)
THOMAS STEARNS ELIOT

Rhapsody on a Windy Night

Twelve o'clock.
Along the reaches of the street
Held in a lunar synthesis,
Whispering lunar incantations
Dissolve the floors of memory
And all its clear relations,
Its divisions and precisions.
Every street lamp that I pass
Beats like a fatalistic drum,
And through the spaces of the dark
Midnight shakes the memory
As a madman shakes a dead geranium.

Half-past one,
The street-lamp sputtered,
The street-lamp muttered,
The street-lamp said, 'Regard that woman
Who hesitates toward you in the light of the door
Which opens on her like a grin.
You see the border of her dress
Is torn and stained with sand,
And you see the corner of her eye
Twists like a crooked pin.'

The memory throws up high and dry
A crowd of twisted things;
A twisted branch upon the beach
Eaten smooth, and polished
As if the world gave up
The secret of its skeleton,
Stiff and white.
A broken spring in a factory yard,
Rust that clings to the form that the strength has left
Hard and curled and ready to snap.

Half-past two,
The street-lamp said,
'Remark the cat which flattens itself in the gutter,
Slips out its tongue
And devours a morsel of rancid butter.'
So the hand of the child, automatic,
Slipped out and pocketed a toy that was running along the quay.
I could see nothing behind that child's eye.
I have seen eyes in the street
Trying to peer through lighted shutters,
And a crab one afternoon in a pool,
An old crab with barnacles on his back,
Gripped the end of a stick which I held him.

Half-past three,
The lamp sputtered,
The lamp muttered in the dark,
The lamp hummed:
'Regard the moon,
La lune ne garde aucune rancune,
She winks a feeble eye,
She smiles into corners,
She smooths the hair of the grass,
The moon has lost her memory.
A washed-out smallpox cracks her face,
Her hand twists a paper rose,
That smells of dust and eau de Cologne,
She is alone
With all the old nocturnal smells
That cross and cross across her brain.'
The reminiscence comes
Of sunless dry geraniums
And dust in crevices,
Smells of chestnuts in the streets,
And female smells in shuttered rooms,
And cigarettes in corridors
And cocktail smells in bars.

The lamp said,
'Four o'clock,
Here is the number on the door.
Memory!
You have the key,
The little lamp spreads a ring on the stair,
Mount.
The bed is open; the toothbrush hangs on the wall,
Put your shoes at the door, sleep, prepare for life.'

Рапсодия о ветреной ночи

Двенадцать часов. В просторе улицы синтезированный луною попот лунных песнопений растворяет мостовые памяти, все её ясные связи, всё, что она разделяет и уточняет. Каждый уличный фонарь, мимо которого прохожу я, бьёт словно в барабан судьбы, полночь встряхивает память в пространствах тьмы, точно сумасшедший трясёт мёртвой геранью.

Половина второго, брызнул фонарь, заворчал фонарь, и сказал фонарь: «Взгляни вон на ту женщину, что стесняется посмотреть в твою сторону, в просвете двери, приоткрывшейся за нею, словно ухмылка. Ты видишь, порван и испачкан в песке подол её платья, видишь, как косится её глаз, словно согнутая шпилька».

Память выбрасывает на сухую отмель груды исковерканных вещей: кривую ветвь, изглоданную, гладкую и полированную, как если бы мир показал свой тайный, корявый и белый костяк, обломок пружины с фабричного двора, ржавчину, жёсткую и сморщенную, и готовую треснуть, что цепляется за форму, которую оставил пресс.

Половина третьего, фонарь сказал: «Обрати внимание на kota, который распластался в сточной канаве и слизывает языком шматок прогорклого масла». Так рука ребёнка произвольно сгребла и сунула в карман игрушку, что катится вдоль набережной. Я не увидел бы ничего позади этого детского глаза. Я видел глаза на улице, которые пытаются что-то разглядеть сквозь освещённые жалюзи, и краба однажды после полудня в бассейне, старого краба с очками на спинке, он схватился за конец палки, которую я ему протянул.

Половина четвёртого, фонарь брызнул, фонарь проворчал во тьме, проямлил: «Взгляни на луну, *la lune ne garde aucune rancune* (луна не таит подвоха), она подмигивает мощным глазом, улыбаясь, глядит в закоулки, гладит волосы травы. Луна потеряла память, остатки ветряной оспы изрыли её лицо, её рука комкает бумажную розу, которая пахнет пылью и одеколоном. Она наедине со всеми застарелыми запахами ночи, что вновь и вновь пронизывают её мозг». Приходит воспоминание о сухой бессолнечной герани и пыли в расщелинах, и запахи каштанов на улицах, и запах женщины в комнатах с опущенными жалюзи и сигареты в коридорах, и запахи коктейля в барах.

Фонарь сказал: «Четыре часа, вот номер на двери. Память! У тебя есть ключ, лампочка бросает круг света на потолок. Войди. Кровать постелена; зубная щётка висит на стене, оставь обувь у порога, ложись спать, готовься к жизни».

Последний поворот ножа.

Элиот — уроженец Сент-Луи в штате Миссури, США, но по праву может быть назван европейским, а не американским поэтом. Окончив Гарвардский университет, он жил с 26 лет в Лондоне, был сначала учителем, служил в банке, затем стал журналистом, критиком и эссеистом; благодаря хлопотам Эзры Паунда, с которым познакомился и подружился накануне первой Мировой войны, выпустил первую книгу стихов. Паунд стал редактором «Опустошённой земли» (возможный эквивалент труднопереводимого названия «*The Waste Land*»), сократив почти наполовину первоначальный, рыхлый и затянутый текст; поэма вышла в 1922 г. и сделала Элиота знаменитым. Элиот основал собственный журнал, просуществовавший до 1939 года. Принял британское подданство, присоединился к англиканской церкви.

Он жил замкнуто, старательно оберегал свою частную жизнь от посторонних глаз; потеряв первую жену, умершую в психиатрической лечебнице, через десять лет женился вторично и был счастлив в браке. После второй Мировой войны Элиот сде-

лался в глазах многих столпом христианского гуманизма, символом политической неподкупности и чуть ли не святым; был осыпан наградами, стал 23-кратным почётным доктором университетов, кавалером орденов и нобелевским лауреатом 1948 года. С Элиотом, может быть, в последний раз, личность поэта вновь стала властителем умов, духовным авторитетом и тем, что древние называли *vates*, — пророком. Вместе с тем, не замарав себя, как в своё время Паунд, после войны едва не избежавший электрического стула, и не высказываясь столь категорично, Элиот временами был не так уж далёк от взглядов Паунда; нечто жуткое, исходившее от Эзры, овеяло Эллиота; он был почитателем идейного вождя «Французского действия» Шарля Морраса (увидевшего в немецкой оккупации Франции уникальный шанс «раз и навсегда освободить Францию от еврейской чумы») и вступился за него, когда Моррас был осуждён как коллаборационист.

Элиот был в равной мере традиционалистом и экспериментатором; что ещё важнее, он соединил, прежде всего в «*The Waste Land*», чрезвычайно сильное и болезненное сознание распада традиционных ценностей с поиском новых смыслов; опора и надежда в этом поиске — культурное наследие западного мира. *Poeta doctus*, александриец XX века, он добился единства мысли и чувства, что сближает его через века с «метафизическими поэтами» английского барокко, — традиция, подхваченная Бродским.

Стихотворение входит в цикл «Префрок и прочие наблюдения» (1917).

АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА (1889 — 1966)

Северные элегии. Четвёртая

Есть три эпохи у воспоминаний,
И первая — как бы вчерашний день.
Душа под сводом их благословенным,
И тело в их блаженствует тени.
Ещё не замер смех, струятся слёзы,
Пятно чернил не стёрто со стола —
И, как печать на сердце, поцелуй,
Единственный, прощальный, незабвенный...
Но это продолжается недолго...
Уже не свод над головой, а где-то
В глухом предместье дом уединённый,
Где холодно зимой, а летом жарко,
Где есть паук, и пыль на всём лежит,
Где истлевают пламенные письма,
Исподтишка меняются портреты,
Куда как на могилу ходят люди,
А возвратившись, моют руки мылом
И стряхивают беглую слезинку
С усталых век — и тяжело вздыхают...
Но тикают часы, весна сменяет
Одна другую, розовеет небо,
Меняются названья городов,
И нет уже свидетелей событий,
И не с кем плакать, не с кем вспоминать.
И медленно от нас уходят тени,
Которых мы уже не призываем,
Возврат которых был бы страшен нам.
И, раз проснувшись, видим, что забыли
Мы даже путь в тот дом уединённый,
И, задыхаясь от стыда и гнева,
Бежим туда, но (как во сне бывает)
Там всё другое: люди, вещи, стены,
И нас никто не знает — мы чужие.
Мы не туда попали... Боже мой!
И вот когда горчайшее приходит:

Мы сознаём, что не могли б вместить
То прошлое в границы нашей жизни
И нам оно почти что так же чуждо,
Как нашему соседу по квартире;
Что тех, кто умер, мы бы не узнали,
А те, с кем нам разлуку Бог послал,
Прекрасно обошлись без нас — и даже
Всё к лучшему...

Не слишком длинный список великих поэтов-женщин, начиная с эллинских поэтесс Сапфо и Коринны, в XX веке пополнен Ахматовой. Она родилась в приморском посёлке неподалёку от Одессы, её жизнь связана с Царским Селом и Петербургом. Выйдя замуж за Гумилева, во время свадебной поездки в Париж пережила короткий роман с Амедео Модильяни (о котором оставила слегка стилизованные воспоминания), в 1912 г. стала участницей только что возникшего петербургского кружка акмеистов и, может быть, больше, чем кто-либо из её поэтических единомышленников, оставалась верной заветам акмеизма всю жизнь. «Тоска по мировой культуре» (Мандельштам) и необыкновенно острое чувство истории, чувство смены и связи времён, вылившееся в классически-ясные формы, принадлежат к этим заветам.

Полезно вспомнить — чтобы понять, в какой мере поэзия может быть независимой от окружающего безумия, — что стихотворение написано в 1953 году.

БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ ПАСТЕРНАК (1890 — 1960)

Ты в ветре, веткой пробуящем,
Не время ль птицам петь,
Намокшая воробушком
Сиреневая ветвь!

У капель — тяжесть запонок,
И сад слепит, как плёс,
Обрызганный, закапанный
Мильоном синих слёз.

Моей тоскою вынянчен
И от тебя в шипах,
Он ожил ночью нынешней,
Забормотал, запах.

Всю ночь в окошко торкался,
И ставень дребезжал,
Вдруг дух сырой прогорклости
По платю пробежал.

Разбужен чудным перечнем
Тех прозвищ и имён,
Обводит день теперешний
Глазами анемон.

Имя, прогремевшее во всём мире благодаря роману «Доктор Живаго», посредством экранизации, политическому скандалу, вызванному осуждением романа советской «общественностью» и вынужденным отказом от Нобелевской премии, — принадлежит поэту, который, однако, именно в этом, главном своём качестве гениального поэта остался почти исключительным достоянием отечественного читателя. Пастернак заявил устами одного из своих героев, что «человек живёт не в природе, а в истории», которая «в нынешнем понимании... основана Христом», но лучшее и главное, что он создал, — это свой особенный, автономный полуязыческий мир, в котором роль истории выполняет природа. После Фета не было в русской поэзии «тайного соглядатая» подобной зоркости, с таким детски-умудрённым, свежим и неожиданно странным, как бы сквозь сферическое увеличительное стекло, взглядом на самую обыкновенную дачную природу Подмосковья, где он прожил много лет.

ОСИП ЭМИЛЬЕВИЧ МАНДЕЛЬШТАМ (1891 — 1938)

К немецкой речи

Б. С. Кузину

Себя губя, себе противореча,
Как моль летит на огонёк полночный,
Мне хочется уйти из нашей речи
За всё, чем я обязан ей бессрочно.

Есть между нами похвала без лести
И дружба есть в упор без фарисейства —
Почтимся ж серьёзности и чести
На западе у чуждого семейства.

Поэзия, тебе полезны грозы!
Я вспоминаю немца-офицера,
И за эфес его цеплялись розы,
И на губах его была Церера.

Ещё во Франкфурте отцы зевали,
Ещё о Гёте не было известий,
Слагались гимны, кони гарцевали
И, словно буквы, прыгали на месте.

Скажите мне, друзья, в какой Валгалле
Мы вместе с вами щёлкали орехи,
Какой свободой вы располагали,
Какие мне поставили вы вехи.

И прямо со страницы альманаха,
От новизны его первостатейной,
Сбегали в гроб ступеньками — без страха,
Как в погребок за кружкой мозельвейна.

Чужая речь мне будет оболочкой,
И много прежде, чем я смел родиться,
Я буквой был, был виноградной строчкой,
Я книгой был, которая вам снится.

Когда я спал без облика и склада,
Я дружбой был, как выстрелом, разбужен.
Бог-Нахтигаль, дай мне судьбу Пилада
Иль вырви мне язык — он мне не нужен.

Бог-Нахтигаль, меня ещё вербуют
Для новых чум, для семилетних боен.
Звук сузился, слова шипят, бунтуют,
Но ты живёшь, и я с тобой спокоен.

Для одних (Зинаида Гиппиус) он был «неврастеническим жидёнком», для других (Анна Ахматова) — «нашим первым поэтом». «У Мандельштама нет учителя. Вот о чём стоило бы подумать. Я не знаю в поэзии подобного факта. Мы знаем истоки Пушкина и Блока, но кто укажет, откуда донеслась до нас эта божественная гармония, которую называют стихами Осипа Мандельштама» (Ахматова).

Гибель Мандельштама есть одно из самых заметных, ныне нашумевших, а между тем всё ещё мало прояснённых акций систематического истребления русской культуры. По-прежнему находятся под спудом, если не уничтожены, следственное и оперативное дела. Скучность рассекреченной информации поразительна. Имена мучителей неизвестны. Поэт был арестован 2 мая 1938 г. по доносу генерального секретаря Союза писателей В. П. Ставского, адресованному лично Ежову. Был приговорён Особым совещанием НКВД к пяти годам лагерей, 9 сентября отправлен этапом в район Владивостока, дорога в ствольпинских вагонах продолжалась около месяца. Прибыл на комендантский лагпункт Вторая речка 12 октября, умер в больничном бараке 27 декабря 1938 года, тело заброшено землёй вместе с другими трупами на «полях захоронения».

МАРИНА ИВАНОВНА ЦВЕТАЕВА (1892 — 1941)

Идёшь, на меня похожий,
Глаза устремляя вниз,
Я их опускала — тоже!
Прохожий, остановись!

Прочти — слепоты куриной
И маков набрав букет, —
Что звали меня Мариной
И сколько мне было лет.

Не думай, что здесь — могила,
Что я появлюсь, грозя...
Я слишком сама любила
Смеяться, когда нельзя!

И кровь прилиwała к коже,
И кудри мои вились...
Я тоже *была*, прохожий!
Прохожий, остановись!

Сорви себе стебель дикий
И ягоду ему вслед:
Кладбищенской земляники
Крупнее и слаще нет.

Но только не стой угрюмо,
Главу опустив на грудь.
Легко обо мне подумай,
Легко обо мне забудь.

Как луч тебя освещает!
Ты весь — в золотой пыли...
— И пусть тебя не смущает
Мой голос из-под земли.

Страшная судьба Цветаевой окружила её имя ореолом мученичества, необычным даже для русских поэтов, и, может быть, способствовала несколько преувеличенной оценке её значения. Блок говорил о разнице между тремя и четырьмя точками в

многоточии; у поэтов (как и у прозаиков) есть свои пунктуационные причуды и предпочтения. Любимый знак препинания Цветаевой — восклицательный знак, исступлённая декламация — почти обычный тон её стихов; и подчас невозможно отделаться от впечатления некоторой истероидности её поэтической личности. Но о писателе судят по его высшим достижениям. Эти достижения — главным образом небольшие лирические стихотворения — поистине ставят Цветаеву в один ряд с небожителями русской поэзии.

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ МАЯКОВСКИЙ
(1893 — 1930)

А вы?

Я сразу смазал карту будня,
плеснувши краску из стакана;
я показал на блюде студня
косые скулы океана.
На чешуе жестяной рыбы
прочел я зовы новых губ.
А вы ноктюрн сыграть могли бы
на флейте водосточных труб?

Пастернак писал, что послереволюционный Маяковский для него — «никакой». То, что споры о поэзии Маяковского (гениальная, великая, недооценённая, переоценённая, «так себе», умершая со своим временем, наконец, просто плохая) продолжают — прежде всего доказательство, что он жив. В конце концов, о писателе судят по его высшим достижениям. Эпиграмма Есенина («...обокрал Уитмена») несправедлива по крайней мере по отношению к этому стихотворению 1913 года; скорее его можно было бы назвать сюрреалистическим. Но сюрреализм появился значительно позже. Возможно, оно не лучшее у Маяковского. И всё же — какой удивительный дар.

PAUL ELUARD (1895 — 1952)
ПОЛЬ ЭЛЮАР

Le Jeu de construction

L'homme s'enfuit, le cheval tombe,
La porte ne peut pas s'ouvrir.
L'oiseau se tait, creusez sa tombe,
Le silence le fait mourir.

Un papillon sur une branche
Attend patiemment l'hiver,
Son coeur est lourd, la branche penche,
La branche se plie comme un ver.

Pourquoi pleurer la fleur séchée
Et pourquoi pleurer les lilas?
Pourquoi pleure la rose dambre?
Pourquoi pleurer la pensée tendre?
Pourquoi chercher la fleur cachée,
Si l'on n'a pas de recompense?
— Mais pour ça, ça et ça.

Игра в кубики

Человек убегает, падает конь, дверь не может открыться. Птица безмолвствует, выройте ей могилу, молчание её убивает.

Бабочка на ветке терпеливо ждёт зимы, её сердце отяжелело, гнётся ветвь, извивается ветвь, словно червь.

К чему оплакивать сухой цветок и к чему оплакивать лилии? К чему плакать над янтарной розой? К чему оплакивать нежную мысль? Чего ради искать сокрытый цветок, коль не получишь вознаграждения?

А вот ради того, того и того.

«Первый сюрреалистический манифест» Андре Бретона (1924) провозгласил принцип литературного творчества, как его понимала группа, а затем и целое течение, к которому примкнули Арагон, Супо, Деснос, Превер, Элюар (слово *surréal* впервые употребил Аполлинер): «Чистый психический автоматизм с целью выразить

действительное функционирование мысли. То, что диктует мысль в отсутствие всякого контроля со стороны рассудка и вне каких-либо эстетических заданий».

Элюар — псевдоним Эжена Гренделя — был сыном бухгалтера в пригороде Парижа, подростком заболел туберкулёзом, но поправился после двухлетнего пребывания в Швейцарии; был солдатом первой Мировой войны, отравлен газами.

Разрыв Элюара с сюрреализмом приходится на вторую половину 30-х годов. В 1942 г., в оккупированной Франции, Элюар стал членом коммунистической партии, обстоятельство, позволившее Илье Эренбургу пропагандировать творчество Элюара в послевоенном Советском Союзе; само собой, при этом образ Элюара оказался заметно стилизованным в духе официальной идеологии. Пацифист, враг буржуазии, отважный участник Сопротивления, Элюар всё же не был патентованным политическим поэтом; не был склонен и теоретизировать о литературе. Его темами всегда оставались человеческая свобода, любовь и поэзия; ему принадлежит обширная «Антология французской поэзии от XII до XVII века».

Стихотворение, которое мы не совсем точно назвали «Игра в кубики» (буквальный перевод: Игра в конструктор), написано в 1926 г., взято из сборника «Столица скорби».

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕСЕНИН (1895 — 1925)

Не жалею, не зову, не плачу,
Всё пройдёт, как с белых яблонь дым.
Увядания золотом охваченный,
Я не буду больше молодым.

Ты теперь не так уж будешь биться,
Сердце, тронутое холодком,
И страна берёзового ситца
Не заманит шляться босиком.

Дух бродяжий, ты всё реже, реже
Расшевеливаешь пламень уст.
О, моя утраченная свежесть,
Буйство глаз и половодье чувств.

Я теперь скупее стал в желаньях,
Жизнь моя? иль ты приснилась мне?
Словно я весенней гулкой ранью
Проскакал на розовом коне.

Все мы, все мы в этом мире тленны,
Тихо льётся с клёнов листьев медь...
Будь же ты вовек благословенно,
Что пришло процветать и умереть.

Есенин, может быть, самый спорный из крупных русских поэтов; те, кто в этом споре составляют оппозицию, кто указывает на провалы вкусы, близость к альбомно-мещанскому фольклору и т.п., всё же никогда не сумеют заставить нас позабыть пронзительную искренность, свежесть, красоту и молодость его лучших строк. Есенина невозможно представить себе стариком. Он покончил с собой, едва успев достигнуть зрелости, этот поступок имел свою клиническую сторону (алкогольная депрессия), но, конечно, медицина объясняет далеко не всё: подобно Блоку, Есенин ушёл, когда в воздухе страны, которым он дышал, почувствовался избыток азота.

ЭДУАРД ГЕОРГИЕВИЧ БАГРИЦКИЙ (1895 — 1934)

Весна, ветеринар и я

Над вывеской лечебницы синий пар.
Щупает корову ветеринар.

Марганцем окрашенная рука
Обхаживает вымя и репицы плеть,
Нынче корове из-под быка
Мычать и, вытягиваясь, млеть.
Расчищен лопатами брачный круг,
Венчальную песню поёт скворец,
Знаки зодиака сошли на луг:
Рыбы в пруду и в траве Телец.

(Вселенная в мокрых ветках
Топорщится в небеса.
Шаманит в сырых беседках
Оранжевая оса,
И жаворонки в клетках
Пробуют голоса.)

Над вывеской лечебницы синий пар.
Умывает руки ветеринар.

Топот за воротами.
Поглядим.
И вот, выпячивая бока,
Коровы плывут, как пятнистый дым,
Пропитанный сыростью молока,
И памятью о кормовых лугах
Роса, как бубенчики на рогах,
Из-под мерных ног
Голубой угар.
О чём же ты думаешь, ветеринар?
На этих животных должно тебе
Теперь возложить ладони свои,
Благословляя покой, и бег,
И смерть, и мучительный вой любви.

(Апрельского мира челядь,
Ящерицы, жуки,
Они эту землю делят
На крохотные куски;
Ах, мальчики на качелях
Как вздрагивают суки!)

Над вывеской лечебницы синий пар...
Я здесь! Я около! Ветеринар!

Как совесть твоя, я встал над тобой,
Как смерть, обхожу твои страдные дни!
Надрывайся!
Работай!
Ругайся с женой!
Напивайся!
Но только не измени...
Видишь: падает в крынки парная звезда,
Мир лежит без межей,
Разутюжен и чист.
Обрастает зелёным,
Блестит, как вода,
Как промытый дождями
Кленовый лист.
Он здесь! Он трепещет невдалеке!
Ухвати и, как птицу, сожми в руке!

(Звезда стоит на пороге —
Не испугай её!
Овраги, леса, дороги:
Неведомое житьё!
Звезда стоит на пороге —
Смотри — не вспугни её!)

Над вывеской лечебницы синий пар.
Мне издали кланяется ветеринар.

Скворец распинается на шесте.
Земля — как из бани. И ветра нет.
Над мелкими птицами
В пустоте
Постукиванье бульжных планет.
И гуси летят к водяной стране,
И в город уходят служителя,
С громадными звёздами наедине
Семенем истекает земля.

(Вставай же, дитя работы,
Взволнованный и босой,
Чтоб взять этот мир, как соты,
Обрызганные росой.
Ах! Вешних солнц повороты,
Морей молодой прибой.)

«В тот год, — вспоминал Семён Липкин, — в Кунцеве жили писатели, большей частью молодые и безвестные, родом из двух противоположных областей России: одесситы и сибиряки. У одесситов был лидер — знаменитый поэт Багрицкий...»

Мучимый астмой в своей жалкой комнатёнке, среди растений и рыбок, Багрицкий погиб от пневмонии в феврале 1934 года, тридцати восьми лет — и, может быть, вовремя. Едва ли можно сомневаться в том, что, проживи он ещё каких-нибудь три года, люди-крысы из канцелярий тайной полиции явились бы за ним.

Солёные брызги моря, образы английского и немецкого романтизма, замороженность революцией и древнее бремя еврейства — всё соединилось в этом изумительном, навсегда любимом и совсем не оценённом поэте.

ΛΥΙ ΑΡΑΓΟΗ (1897 – 1982)
LOUIS ARAGON

Je vous salue ma France arrachée aux fantômes
O rendue à la paix Vaisseau sauvé des eaux
Pays qui chante Orléans Beaugency Vendôme
Cloches clochers sonnez l'angélus des oiseaux

Je vous salue ma France aux yeux de tourterelle
Jamais trop mon tourment mon amour jamais trop
Ma France mon ancienne et nouvelle querelle
Sol semé de héros ciel plein de passereaux

Je vous salue ma France où les vents se calmèrent
Ma France de toujours que la géographie
Ouvre comme une paume aux souffles de la mer
Pour que l'oiseau du large y vienne et se confie

Je vous salue ma France où l'oiseau de passage
De Lille à Roncevaux de Brest au Mont Cenis
Pour la première fois a fait l'apprentissage
De ce qu'il peut coûter d'abandonner un nid

Patrie également à la colombe ou l'aigle
De l'audace et du chant doublement habitée
Je vous salue ma France où les blés et les seigles
Mûrissent au soleil de la diversité

Je vous salue ma France où le peuple est habile
A ces travaux qui font les jours émerveillés
Et que l'on vient de loin saluer dans la ville
Paris mon coeur trois ans vainement fusillé

Heureuse et forte enfin qui portez pour écharpe
Cet arc-en-ciel témoin qu'il ne tonnera plus
Liberté dont frémit le silence des harpes
Ma France d'au-delà le déluge Salut

Привет вам, моя Франция, вырванная из царства теней. О, ковчег, возвращённый из вод на мирную сушу. Страна, где поют старинный канон «Орлеан, Божанси... Вандом», колокола, колокольни, звоните утреннюю молитву птиц.

Привет вам, моя Франция с глазами горлицы, не бывало сильнее моих мук о тебе, моей любви к тебе, Франция, моя вечно новая страда, почва, удобренная телами павших, небо в воробьиных стаях.

Привет вам, моя Франция, где стихают ветры, всегдашняя, вечная Франция, которую география открывает, словно ладонь, простёртую к дыханию морей, чтобы птица океана опустилась и доверилась ей.

Привет вам, моя Франция, здесь перелётные птицы, от Лилля до Ронсевалья, от Бреста до Мон-Сени, впервые учатся постигать, что значит оставить родное гнездо.

Родина и голубю, и орлу, обитель песни и отваги, привет вам, моя Франция, где зреют злаки под солнцем разнообразия.

Привет тебе, Франция, чей народ трудится, чтобы превратить дни в чудеса, куда приезжают издалека, чтобы приветствовать твой Париж — моё три года подряд тщетно расстрелянное сердце.

Наконец-то счастливая, сильная, ты, что носишь, как перевязь, радугу — знак того, что больше не будет грометь гром, свобода, от которой вздрагивает молчание арф, моя Франция по ту сторону потопа, — привет.

Кое-кто пожмёт плечами, увидав это имя. Арагон сочинил целую полку романов, горы стихов, множество других произведений, среди которых попадаются такие, о коих лучше не вспоминать. Выпущенное в 60—70-х годах совместное собрание одних лишь прозаических вещей Луи Арагона и Эльзы Триоле (значительно менее талантливой, чем муж, и куда более предприимчивой) насчитывает 42 тома. Обстоятельства рождения Арагона долгое время держались в тайне: он был внебрачным сыном человека, который числился его опекуном (и придумал ему имя Арагон), был усыновлён бабушкой; его сестрой считалась женщина, которая на самом деле была его матерью. Восемнадцати лет он отправился на фронт, получил крест за храбрость, после войны был медицинским студентом, в 1924 году вместе с Бретоном возглавил «сюрреалистическую революцию». Эльза, сестра Лили Брик и несостоявшаяся подруга Шкловского и Маяковского, уехавшая во Францию, довольно быстро оттеснила прежних друзей, Арагон порвал с сюрреализмом, стал правоверным коммунистом, восторженным почитателем «первого в мире государства рабочих и крестьян» и поборником социалистического реализма. В середине тридцатых он присутствовал на конгрессе пролетарских писателей в Харькове. Позднее можно было не раз читать в газетах о том, что в Союзе писателей СССР гостят известные французские писатели Луи Арагон и Эльза Триоле: оба широко печатались в Союзе и приезжали за полновесными гонорами.

Арагон ушёл бы в небытие, если бы не война с нацизмом, поражение Франции и Соппротивление, в котором он принял участие: эти годы сделали его по-настоящему крупным поэтом. Изумительное стихотворение «Привет вам, моя Франция...», нежное и торжественное, написано после освобождения страны. Франция открыта двум морям. Её очертания напоминают ладонь. Птицы, летящие в Африку из Северной Атлантики, садятся, как на протянутую руку, на её территорию.

Отсутствие пунктуации — традиция, идущая от Аполлинера.

БЕРТОЛЬТ БРЕХТ (1898 – 1956)
BERTOLT (BERTOLD) EUGEN FRIEDRICH BRECHT

An die Nachgeborenen

Wirklich, ich lebe in finsternen Zeiten!
Das arglose Wort ist töricht. Eine glatte Stirn
Deutet auf Unempfindlichkeit hin. Der Lachende
Hat die furchtbare Nachricht
Nur noch nicht empfangen.

Was sind das für Zeiten, wo
Ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist,
Weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschließt!
Der dort ruhig über die Straße geht
Ist wohl nicht mehr erreichbar für seine Freunde, die in Not sind?
Es ist wahr: ich verdiene noch meinen Unterhalt.
Aber glaubt mir: das ist nur ein Zufall. Nichts
Von dem, was ich tue, berechtigt mich dazu, mich sattzuessen.
Zufällig bin ich verschont. (Wenn mein Glück aussetzt,
Bin ich verloren).

Aber wie kann ich essen und trinken, wenn
Ich dem Hungerndem entreiße, was ich esse, und
Mein Glas Wasser einem Verdurstenden fehlt?
Und doch esse und trinke ich.

Ich wäre gern auch weise.
In den alten Büchern steht, was weise ist:
Sich aus dem Streit der Welt halten und die kurze Zeit
Ohne Furcht verbringen.

Aber ohne Gewalt auskommen,
Böses mit Gutem vergelten,
Seine Wünsche nicht erfüllen, sondern vergessen
Gilt für weise.
Alles das kann ich nicht.
Wirklich, ich lebe in finsternen Zeiten!

К потомкам

Право, я живу в мрачные времена! Беззаботное слово глупо. Гладкий лоб говорит о бесчувственности. Тот, кто смеётся, просто ещё не услышал страшную новость.

Что это за времена, когда разговор о деревьях — почти преступление, ибо он заключает в себе молчание о стольких злодеяниях! Тот, кто вон там спокойно идёт по улице, — он что, недоступен больше для своих друзей в беде?

Это верно: я всё ещё зарабатываю себе на хлеб. Но верьте мне, это всего лишь случайность. Ничто из того, что я делаю, не даёт мне право есть досыта. Я уцелел случайно. (Если заметят мою удачу, я пропал).

Мне говорят: ешь и пей. И будь доволен тем, что у тебя есть! Но как я могу есть и пить, когда то, что я ем, я отнимаю у голодного, когда без стакана воды, что у меня в руках, остался умирающий от жажды? И всё-таки я ем и пью.

Хотел бы я быть и мудрым. В старых книгах написано, что значит быть мудрым. Строниться мировой драки и прожить краткую жизнь без страха.

И обойтись без насилия, и платить добром за зло, не утолять свои желания, но забыть о них. Вот что считается мудрым. Я этого не умею. Право, я живу в мрачные времена!

«Эпический театр» Брехта постепенно уходит в прошлое; остался грандиозный поэт. Брехт был приверженцем наспех усвоенной им догмы классовой борьбы и пролетарской революции, при этом, как многие её апологеты, вышел из привилегированной среды: его отец был директором фабрики в Аугсбурге. Порой его жестоко подводил навязанный самому себе несвободный образ мыслей. Во второй половине 30-х годов, во времена Большого террора, который Брехт словно не заметил, он издавал вместе с другом юности Фейхтвангером московский журнал на немецком языке «Das Wort» («Слово»). Журнал был закрыт после заключения пакта о дружбе Советского Союза с нацистской Германией.

В 1940 году Брехт бежал из Германии в Финляндию, оттуда в Москву, где благоразумно не задержался, проследовал через Владивосток в США, жил в Калифорнии по соседству с Томасом Манном, с которым его связывала, если можно говорить о связи, взаимная неприязнь. После войны предстал перед «Комиссией по расследованию антиамериканской деятельности» как сторонник коммунизма, вернулся в Европу, в 1948 г. переехал из Цюриха в Восточный Берлин и стал режиссёром театра «Берлинский ансамбль».

Обращение человека гнуснейшей эпохи к потомкам (буквально: к родившимся позже; мы помещаем первую часть диптиха) написано словно одним из нас, живших в другие годы и в другой стране.

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ЗАБОЛОЦКИЙ (1903 — 1958)

Читая стихи

Любопытно, забавно и тонко:
Стих, почти не похожий на стих.
Бормотанье сверчка и ребёнка
В совершенстве писатель постиг.

И в бессмыслице скомканной речи
Изошрённость известная есть.
Но возможно ль мечты человечьи
В жертву этим забавам принести?

И возможно ли русское слово
Превратить в щебетанье щегла,
Чтобы смысла живая основа
Сквозь него прозвучать не могла?

Нет! Поэзия ставит преграды
Нашим выдумкам, ибо она
Не для тех, кто, играя в шарады,
Надевает колпак колдуна.

Тот, кто жизнью живёт настоящей,
Кто с поэзии с детства привык,
Вечно верует в животворящий,
Полный разума русский язык.

Заболоцкий родился далеко от столиц, в бывшей Казанской губернии, был сыном агронома и сельской учительницы, окончил реальное училище в Уржуме и педагогический институт в Ленинграде. В 1928 г. обнаружил, вместе с Хармсом, Олейниковым и Введенским, «Декларацию Объединения реального искусства». В следующем году опубликовал «Столбцы», замечательный памятник русского экспрессионизма. В 1938-м арестован.

«Первые дни меня не били, стараясь разложить меня морально и измотать физически. Мне не давали пищи. Не разрешали спать. Следователи сменяли друг друга, я же неподвижно сидел на стуле перед следовательским столом — сутки за сутками... Ноги мои стали отекать, и на третьи сутки мне пришлось разорвать ботинки, так как

я не мог более переносить боль в стопах... На четвёртые сутки я начал постепенно терять ясность рассудка...»

«...меня вытолкнули в другую комнату. Оглушённый ударом сзади, я упал, стал подниматься, но последовал второй удар в лицо. Я потерял сознание. Очнулся я, захлёбываясь от воды, которую кто-то лил на меня. Меня подняли на руки и, мне показалось, начали срывать с меня одежду. Я снова потерял сознание. Едва я пришёл в себя, как какие-то неизвестные мне парни поволокли меня по каменным коридорам тюрьмы, избивая меня и издеваясь над моей беззащитностью. Они втоптали меня в камеру с железной решётчатой дверью, уровень пола которой был ниже пола коридора, и заперли в ней... В камере стояла тяжёлая железная койка. Я подтащил её к решётчатой двери и подпёр её спинкой дверную ручку. Чтобы ручка не соскочила со спинки, я прикрутил её к кровати полотенцем, которое было на мне вместо шарфа. За этим занятием я был застигнут моими мучителями... Чтобы справиться со мной, им пришлось подтащить к двери пожарный шланг... струя воды под сильным напором ударила меня и обожгла тело. Меня загнали этой струёй в угол и после долгих усилий вломились в камеру целой толпой. Тут меня жестоко избили, испинали сапогами, и врачи впоследствии удивлялись, как остались целы мои внутренности».

«...Я очнулся от невыносимой боли в правой руке. С завёрнутыми назад руками я лежал, прикрученный к железным перекладинам койки... Когда сознание снова вернулось ко мне, я был уже в больнице для умалишённых» («История моего заключения», 1956).

ПАУЛЬ ЦЕЛАН (1920 – 1970)
PAUL CELAN

Todesfuge

Schwarze Milch der Frühe wir trinken sie abends
wir trinken sie mittags und morgens wir trinken sie nachts
wir trinken und trinken
wir schaufeln ein Grab in den Lüften da liegt man nicht eng
Ein Mann wohnt im Haus der spielt mit den Schlangen der schreibt
der schreibt wenn es dunkelt nach Deutschland dein goldenes Haar Margarete
er schreibt es und tritt vor das Haus und es blitzen die Sterne
er pfeift seine Rüden herbei
er pfeift seine Juden hervor läßt schaufeln ein Grab in der Erde
er befiehlt uns spielt auf zum Tanz

Schwarze Milch der Frühe wir trinken dich nachts
wir trinken dich morgens und mittags wir trinken dich abends
wir trinken und trinken
Ein Mann wohnt im Haus der spielt mit den Sclangen der schreibt
der schreibt wenn es dunkelt nach Deutschland dein goldenes Haar Margarete
Dein aschenes Haar Sulamith wir schaufeln ein Grab in den Lüften
da liegt man nicht eng
Er ruft stecht tiefer ins Erdreich ihr einen ihr andern singet und spielt
er greift nach dem Eisen im Gurt er schwingts seine Augen sind blau
stecht tiefer die Spaten ihr einen ihr andern spielt weiter zum Tanz auf

Schwarze Milch der Frühe wir trinken dich nachts
wir trinken dich mittags und morgens wir trinken dich abends
wir trinken und trinken
ein Mann wohnt im Haus dein goldenes Haar Margarete
dein aschenes Haar Sulamith er spielt mit den Schlangen

Er ruft spielt süßer den Tod der Tod ist ein Meister aus Deutschland
Er ruft streicht dunkler die Geigen dann steigt ihr als Rauch in die Luft
dann habt ihr ein Grab in den Wolken da liegt man nicht eng

Schwarze Milch der Frühe wir trinken dich nachts
wir trinken dich mittags der Tod ist ein Meister aus Deutschland
wir trinken dich abends und morgens wir trinken und trinken
der Tod ist ein Meister aus Deutschland sein Aug ist blau
er trifft dich mit bleierner Kugel er trifft dich genau
ein Mann wohnt im Haus dein goldenes Haar Margarete
er hetzt seine Rüden auf uns er schenkt uns ein Grab in der Luft
er spielt mit den Schlangen und träumet der Tod ist ein Meister aus Deutschland
dein goldenes Haar Margarete
dein aschenes Haar Sulamith

Фуга смерти

Чёрное молоко рассвета мы пьём его на ночь
пьём его в полдень и утром мы пьём его ночью
мы пьём и пьём
и роём могилу в воздушных пространствах где лежать не так тесно
некто живёт в своём доме играет со змеями пишет
пишет когда стемнеет в Германию твои золотые волосы Маргарита
пишет он и выходит из дому и звёзды сверкают свистит своим псам
евреям своим свистит пусть вылезают и роют могилу в земле
он отдаёт нам приказ играйте да так чтоб хотелось сплясать

Чёрное млеко рассвета мы пьём тебя ночью
пьём тебя утром и в полдень пьём тебя на ночь
мы пьём и пьём
некто живёт в своём доме тот кто играет со змеями тот кто пишет
пишет когда стемнеет в Германию твои золотые волосы Маргарита
твои пепельные волосы Суламифь
мы роём могилу в воздушных пространствах там лежать не так тесно
он кричит эй вы там и те и вон те глубже втыкайте лопату в земле ваше царство
а вы запевайте кричит играйте
выхватит нож из-за пояса машет ножом глаза у него голубые
глубже втыкайте лопату вы там и вы играйте чтоб хотелось сплясать

Чёрное млеко рассвета мы пьём тебя ночью
пьём тебя в полдень и утром пьём тебя на ночь
пьём и пьём
некто в доме живёт твои золотые волосы Маргарита
твои волосы ставшие пеплом Суламифь он играет со змеями

Он зовёт играйте слаще играйте смерть
смерть наставница из Германии
зовёт водите мрачнее по струнам и дымом подниметесь к небу
в могилу над облаками где лежать не так тесно

Чёрное молоко рассвета мы пьём тебя ночью
пьём тебя в полдень смерть педагог из Германии

пъём тебя ночью и утром и пьём и пьём
смерть педагог из Германии мастер глаза у него голубые
выстрелит пулей свинцовой в тебя наповал
некто в доме живёт твои золотые волосы Маргарита
псов натравил на нас подарил нам
в воздушных пространствах могилу
некто играет со змеями и грезит смерть педагог из Германии
твои золотые волосы Маргарита
твои пеплом одетые волосы Суламифь

Настоящее имя Целана было Пауль (Пессах) Анчель-Тейтлер; он родился в Черновцах, главном городе Буковины, которая была коронной землёй австро-венгерской монархии, затем отошла к Румынии, затем была аннексирована Советским Союзом, ныне входит в состав Украины. Как во всех еврейских семействах круга, к которому принадлежали родители Целана, его родным языком был немецкий, вторым — румынский; как всё образованное румынское общество, он говорил по-французски. Знал древнееврейский, английский, хорошо владел русским, позже учился итальянскому и португальскому.

Целан стал медицинским студентом во Франции, летом 1939 г. приехал на каникулы к родителям, в сентябре началась война, он остался в Черновцах. В июне следующего года подданные короля на один год стали советскими гражданами. Затем город оккупировали части вермахта и румынские войска. В город прибыло эсэсовское оперативное формирование. Родные Целана погибли в концлагере.

Сам он спасся, после войны бежал в Вену (где встречался с Ингеборг Бахман), с конца сороковых годов жил в Париже. 20 апреля 1970 г. он исчез. Десять дней спустя тело было найдено в водах Сены возле Курбевуа, в десяти километрах от Парижа. Повидимому, он бросился в реку недалеко от своей квартиры, с моста Мирабо, некогда воспетого Аполлинером.

Целан оставил девять тоненьких поэтических книг, тексты нескольких выступлений и переводы (в том числе из русских поэтов: Лермонтов, Мандельштам, Цветаева, Есенин). С годами язык Целана становился всё концентрированной, стихи всё лаконичней, их многосмысленная загадочность, герметические метафоры часто ставили в тупик даже искушённых читателей. Однажды он сказал: «Я нахожусь на другом уровне пространства и времени, нежели мой читатель; он может понять меня лишь “на расстоянии”, ухватить меня непосредственно он не может: каждый раз он хватается за решётку, что стоит между нами».

В одном стихотворении из сборника «Sprachgitter» (возможный перевод: ограда языка, решётка языка) говорится о «двух пригоршнях молчания». Невозможность выразить себя заставляет влюблённых умолкнуть. Критика толковала об «алхимии молчания» у Пауля Целана. Проблематичность поэтического высказывания — центральная тема его поэзии. Так ставится под сомнение коронный тезис Хайдеггера: язык — дом бытия. Может быть, язык — это крематорий бытия?

Тем не менее «Фуга смерти», стихотворение века, было воспринято как доказательство — для многих спорное — того, что после Освенцима всё-таки можно писать стихи.

На собрании Группы 47 в Ниендорфе под Гамбургом в мае 1952 г. Целан читал «Фугу смерти» (сохранилась магнитофонная запись) почти лишённым модуляций, мертвенно-страстным голосом, каким мог бы говорить человек, восставший из могилы.

Стихотворение с расшатанным синтаксисом, бормочущей монотонной дикцией, с почти маниакальным повторением одних и тех же формул, в самом деле построено как органная fuga: регистры подхватывают одну и ту же музыкальную фразу. Стихотворение соткано из сплетающихся нитей — ассоциаций, допускающих всё новые и неожиданные толкования. Секрет в том, что в пространстве стиха имплицитно присутствуют все толкования; исчерпать их, однако, невозможно.

Первый план очевиден: речь идёт о заключённых в лагере уничтожения, которых заставили рыть яму, куда на рассвете будут сброшены их трупы. Но их ждёт другое: они не уйдут в землю, а будут сожжены в печах и невесомым дымом поднимутся в пустое небо. Этот круг образов тянет за собой другой — воспоминания детства: ребёнок пьёт на ночь молоко. Утром он сидит в классе на уроке музыки. Лагерь — это школа; обречённые на смерть евреи — ученики. Надзиратель-эсэсовец с кинжалом у пояса — педагог. Смерть — учитель из Германии. Это мастер своего дела: смерть организована на высоком профессиональном уровне. (Немецкое слово Meister имеет несколько значений). Два женских образа, олицетворение двух народов, просвечивают сквозь всю ткань: золотоволосая Гретхен, согрешившая героиня Гёте и традиционный образ Германии, — и Суламифь, девушка с пепельными волосами, возлюбленная царя Соломона. Теперь она сама станет пеплом.

ИОСИФ АЛЕКСАНДРОВИЧ БРОДСКИЙ (1940 — 1996)

Aere peraennius

Приключилась на твёрдую вещь напасть:
будто лишних дней циферблата пасть
отрыгнула назад, до бровей сыта
крупным будущим, чтобы считать до ста.
И вокруг твёрдой вещи чужие ей
встали кодлом, базаря: «Ржавей живей»
и «Даёшь песок, чтобы в гроб хромать,
если ты из кости или камня, мать».
Отвечала вещь, на слова скупа:
«Не замай меня, лишних дней толпа!
Гнуть свинцовый дрын или кровли жечь —
не рукой под чёрную юбку лезть.
А тот камень-кость, гвоздь моей красы —
он скучает по вам с мезозоя, псы.
От него в веках борозда длинней,
чем у вас с вечной жизнью с кадиллом в ней».

Великие книги века, догнившего на наших глазах, были созданы экспатриантами. Бродского лишили родины — тем хуже для родины, можем мы сейчас сказать. Никто, однако, не знает, как сложилась бы жизнь и судьба Бродского, не будь он принужден эмигрировать. Изгнание сделало его космополитом и великим национальным поэтом.

Стихотворение под заголовком, отсылающим к Горацию («Бронзы долговечней...»), завершает традицию Памятников в русской поэзии. То же, что у Горация, количество строк, тот же размер: 1-я асклепиадова строфа. (В кокетливо-фамильярном «Письме к Горацию», 1995 г., Бродский писал: «На худой конец, мы можем общаться с помощью размеров. Я легко могу выстукивать первую асклепиадову строфу при всех её дактилях»).

Монумент, воздвигнутый поэтом, именуется «твёрдой вещью». Скала-памятник в самом деле долговечней бронзы: это порода, отложившаяся в доисторические времена. Псы будущего, «лишние дни», готовые изгрызть её в песок, ничего не смогут с ней поделаться. Мощь поэзии, которой приходилось работать со свинцом и кровельным железом, вечность поэзии — надёжней «вечной жизни с кадиллом в ней».